Слово
1992 02



Фото ПАВЛА КРИВЦОВА.

КУЛЬТУРА

Традиции.
Духовность.
Возрождение.

«Лихой косою только первый взмах сделать».

А. Солженицын. «Архипепаг ГУЛАГ».

СТАНИСЛАВ ЗОЛОТЦЕВ



размышления публициста

...Когда все это началось?..

Признаюсь, мне не очень по сердцу выражение «малая родина». Родная земля — понятие неразделимое, с какой буквы ни пиши. Мала лн моя родина, северо-западный край, не один век бывший щитом Руси, бывший республикой (пусть и феодальной) задолго до семнадцатого года нашего столетия. Мала ли моя родина — земля во главе с городом, о котором в летописи было некогда сказано: «О Плескове граде от летописания не обретается воспоминания, от кого создан бысть и которыми людьми; токмо уведехом яко бысть уже в то время, как наехали князи Рюрик с братиею нз Варяг в Словене княжити».

Псковщина для меня — начало всего, начало *моей* России. По ней, по ее жизни сужу о сегодняшнем духовном и материальном бытии нации, к которой принадлежу. К той, что и поныне именуется Великой Русью в гимне общегосударственном, но своего гимна — как и многого другого — не имеет. Всякне времена пережил мой край, были же еще и такие слова в другом древнем памятнике: «И кто сего не восплачет, и кто сего не возрыдает!» — это из «Слова о взятии Пскова», запечатлевшего вхождение моего края под «шапку Мономаха». Есть версия, что и более древнее «Слово по погибели Русской Земли» тоже сложено было одним из моих земляков-летописцев. Но ведь не погибли тогда ни Псковщина, ни Русская земля, пережили они века и многие лихолетья. А сегодня?

И сегодня эта земля и главный город ее могут еще покорять людские сердца, зачаровывать их, вызывая слова восторга. Такие, напрнмер, какие были сказаны моим товарищем по перу В. Личутиным на псковском празднике славянской письменности: «Псков — средоточие нацнональной памяти и русского духа, брнллиант родной красоты, и даже пыль веков и пронесшихся бурь не смогла замутить его граней». Да, не смогла... Но, к сожалению, не могу я отнести восторг моего товарища к сегодняшнему бытию Псковщины. Она — не только град-витязь на слиянии Великой и Псковы, но и весь край вокруг него, со многими, иногда не менее древними, поселками и городками-райцентрами с сотнями сёл и деревень, пажитей, лесов и озер. Они-то и есть та почва, на которой возник «бриллиант родной красоты». Как живет она нынче? Здесь вернее было бы сказать иначе — живет ли? Будет ли жить? И нет тут ни преувеличения, ни экзальтации. Именно так... Когда же все это началось?

Когда началось — и почему нарастает с небывалыми скоростями — убиение моей родины, ее духа и плоти, самой ее земли? ...Один из древних способов казни — обезглавливание. Покуда живут на свете художники, они будут спорить о разнице между образом и символом. Скажу одно: есть такие образы, которые становятся самыми впечатляющими символамн. Можно ли обезглавить землю? — до недавних пор мне казалось, что это всего лишь метафора. Но вот недавно мне довелось вновь проехать по одному из старинных трактов, по которому много раз ездил в детстве, с родителями, сельскими учителями. Август, золото полей, безбрежная синь с прозеленью, холмистая лесная земля, та, что вдохновила стольких поэтов и была увековечена Пушкиным, для которого она стала почвой духовной зрелости. И — верста за верстой — взгляд все более ощутимо примечал, что нечто изменилось. Некие пустоты образовались на грани земли и неба. Зрительная память детства подсказывала: вот на этом холме был древний плитяной храм, на том — новых времен, но все же уникальная церкоака темно-красного кирпича, «русское барокко», венчавшая высь собой, там — просто часовня. Старые псковские храмы были однокупольными; посмотришь издали — воистину богатырь под шеломом вырастает из земли. Над борами, сёлами и полями высились не просто купола — но именно *главы*. Главы земли, ее истории. Главы в книге ее духа, ее красоты. А теперь на столь небольшом отрезке дороги в глубинке бросилось в глаза: либо совсем исчезло несколько храмов, стоявших еще после войны, либо от них

остались лишь стены — купола исчезли. Возникло ощущение *обезглавленной* земли.

Да, конечно, здания церквей, равно как и светских старинных построек, имеют свое ценностное выражение в деньгах. Но я говорю о том, что никакими рублями (золотыми, «твердыми», инвалютными) не измерить. Не в стенах дело, символизирующих собой средостение религии, *а в почве веры.* Той веры, что созидала не только храмы, но и всю красоту земную. И города, и веси, и книги, и песни, и хлеб. Вера — почва культуры.

В наши дни многие слова утрачивают свое истинное, первозданное значение. Так, интеллектом часто называют умение блеснуть информированностью. Культура... С этим еще хуже: ее вообще часто сводят то к киноконцертным «мероприятиям», то чуть ли не к наборам открыток киноартистов. «Очаг культуры» — при этих словах в сознании любого, вероятней всего, возникает унылая развалюха клуба. В лучшем случае, нечто вроде дискотеки. Но о дискотеках позже... Культура по-латыни — *возделывание.* Не только земли. Возделывание всего ценного, что питает и плоть, и душу. Постоянный, день за днем, год за годом движущийся труд созидания — города, села, сада, своего дома, взращивание детей, прокладывание дороги. Без веры такой труд невозможен... И, коль скоро здание церкви стало символом веры, то и разрушение ее — тоже символ. Вот почему и увиделась мне земля обезглавленной. Но разве это не так?

Что вспоминается прежде всего, когда я думаю о подлинной, а не историко-метафорической погибели псковской земли... «Взятие Пскова», присоединение феодальной республики к Московскому княжеству погибели не было, как бы ни были горьки чувства моих земляков при виде увозимого вечевого колокола. Ведь именно здесь, на этой земле, в Спасо-Елеазаровском монастыре старец Филофей (в письме дьяку Василия III Михаилу Мунехину) выразил идею единой русской государственности под главенством Москвы — идею Третьего Рима

А вспоминается мне прежде всего — боль в глазах Я видел ее сам, еще мальчишкой, в конце пятидесятых. Тогда я впервые стал свидетелем разрушения псковской церкви, храма Казанской Богоматери. В областной газете разъяснялось: она не имеет архитектурно-исторической ценности. Да, Казанская была моложе многих псковских храмов — изящное строение екатерининской эпохи, «растреллиевский стиль», стрельчатость и замысловатость линий. Стояла она рядом с колхозным рынком, рушили ее в один присест, и вокруг толпился люд, пришедший на рынок, горожане и крестьяне. Впервые я тогда услышал хоровой, народный возглас отчаяния: «За что?! Зачем?!» — кричали люди. И когда на месте рухнувшего храма заклубилось огромное облако каменной пыли, и в голос зарыдали старухи, я, малец, ничего тогда не понимавший в догматах религии, все-таки почувствовал нечто, ощущаемое на похоронах близких, — чувство исчезновения чего-то живого, родного. А у тех, кто не плакал, не кричал, стоял в скорбном молчании, плескалась из глаз невыразимая боль. Она, казалось, обжигала воздух и землю.

...И построили на том месте деревянный сарай-пивнушку, и стало место вознесения молитв местом вознесения тяжкого хмельного мата. И поименован тот шалман был не только весело — «Огонек», но и символично: вскоре проворовавшиеся буфетчицы подожгли его, и пепел покрыл святые камни...

Вообще на моих глазах в родном городе пыль и пепел не раз покрывали святые места. В конце тех же пятидесятых на месте бывшего княжеского дома, где и в гражданскую, и во время фашистской оккупации происходили массовые казни, где должен был встать памятник Александру Невскому — выстроили кинотеатр «Октябрь». Серый, уродливый и безликий каменный сарай, закрывший вид на Кром — наш псковский Кремль. Котлован под его фундамент рыли спешно, разрушая богатейший археологический слой, оставшийся неисследованным. Помнится: ковш экскаватора сыплет вычерпанную почву, а в ней — вперемешку — и черепа, и остатки древней утвари, и обломки старинных доспехов. Стальные зубья кромсали то, что должно было стать живой памятью и гордостью современников. «Да хоть бы захоронить эти косточки по-человечески!» — такой полный боли женский возглас запомнился мне.


Фото МИХАИЛА ПАЗИЯ

ЗОЛОТЦЕВ Станислав Александрович родился в 1947 году в Псковской области, в семье сельских учителей. Окончил Ленинградский университет и аспирантуру МГУ. Работал переводчиком за рубежом, преподавал английский язык и литературу в вузе. Служил офицером на Северном флоте.
Автор семи книг стихов и книги критики «Нет в поэзии провинции», а также ряда статей по проблемам советской и зарубежной поэзии. В его переводах выходили многие произведения поэтов разных народов нашей страны, Востока и Запада. Неоднократно выступал в печати как очеркист и публицист, пишущий о состоянии культуры, экологии, эстетического воспитания. Член СП СССР. Живет в Москве.

Боль, невыразимая боль... Сколько раз доводилось видеть и слышать ее потом, хотя вроде бы и при совсем иных обстоятельствах, но тоже тогда, когда губилось нечто святое, родное, душой, сердцем, трудовыми руками, верой созданное. Видел я ее в глазах крестьянок, голосивших, когда по хрущевскому указу у них отбирали коров, и те, согнанные на огороженный наспех пустырь, без корма и ухода, стали скопом отдавать богу свои коровьи души. Оставшихся повезли на бойню...

Боль, такая же слезная боль плескалась в глазах многих псковичей, когда в 60-е и в 70-е годы бульдозеры убивали их сады. Эти люди отдавали многие годы возделыванию нашей бедной, суглинистой и супесчаной почвы, пронизанной девонскими плитняками. Но и на ней взращивали они дивные сады с элитными сортами яблонь, вишен, груш. Все Завеличье — обширная западная окраина города за рекой Великой — утопало в пышной кипени этих садов. Едва ли не самый первый из них был творением моего деда, селекционера, чье имя осталось в нескольких пособиях по садоводству. (Кстати, в начале 30-х сад чуть не стал причиной его «раскулачивания»: дескать, разбогател мужик на яблоках...) Завеличенские сады выстояли и в жестоких морозах перед войной, и в воен-

ных пожарищах, и едва ли не самое сильное воспоминание первых лет моей жизни — как дед мой погожим днем с крестьянами из окрестных сел опускает в землю корни саженцев, раздвигает владения зеленого плодоносного царства. В те же годы он по зову хранителя Пушкиногорья С. С. Гейченко восстанавливал усадебный сад рядом с домом опального гения...

А сегодня на Завеличье — ни одного сада. Выросла громада новостроек, фактически целый новый город, и до чего же безлик, тускл, сер *этот* город, *лишенный* зелени. Стандартные, «голые» и уже обшарпанные дома, захламленные дворы. Начисто вырублен, сведен до уровня разбитого асфальта загазованных улиц весь многолетний труд возделывания земли, труд многих подвижников-садоводов. Вот городская больница — как нужна бы зелень рядом с ней: нет, лишь несколько яблонь засыхают у ее стен, вот и все, что осталось от гигантского совхозного сада, выращенного моим прародителем. Он-то хоть и не дожил до тех дней, когда стали уничтожать зеленый храм, детище его, — а вот один из его сотоварищей-селекционеров дожил, но, увидев, как бульдозеры сметают его сад, не возжелал никакой компенсации за пагубу. Ничего не возжелал — в тот же день сам ушел из жизни. Крепкий русский крестьянин старой выделки... Так невыносима была боль.

Нет, не просто храмы и не просто сады рушит безголовая, тупая и бездуховная сила. Она рушит все то, что в целом и есть культура земли. Уничтожает многовековое искусство возделывания жизни, созидания бытия... Сколько ни приходилось мне обсуждать со своими земляками многообразные беды города и края — и экологические, и музейные, и продовольственные, горькие их слова сводились к одному знаменателю: «Без головы город, земля без хозяина».

И кто сего не восплачет, и кто сего не возрыдает... Страшно видеть такую боль в людских глазах, но еще страшней — не *видеть* ее тогда, когда она *должна* гореть. Нет ее: отшиблена память, исчезает генетическое, кровное родство со всем, что оставляет человека на земле человеком — с историей его рода, с делом его отцов и прадедов, независимо от того, кто они были, каменотесы, крестьяне или рыбаки... Вот сейчас в голубом окне телевизора, в моем сельском доме, где я пишу эти строки, слышатся жалобы очень ответственного коммерческого руководителя страны: заграница требует льняное полотно, а у нас его уже нет, все запасы исчерпаны. Нет льна... А за окном моего деревенского дома — льняное поле. Долгунец уже «отколоколился», вызрел, и, когда солнечно, от его коричневато-золотистых стеблей исходит маслянистый теплый дух. Но не уберут этот лен: поле уже заглохло в сорняках. Произойдет то кошмарное, что происходит уже не первый год в наших льноводческих местах, — лен поляжет под дождями, перезимует под снегом, а весной его сожжет в срочном порядке созванная бригада. Я сам это видел: колхозницы собирают перегнившие стебли и поджигают бурую кучу. И нет у них в глазах уже никакой смуты. Чудовищное дело стало привычным. Никому нет дела до того, что гибнет живое золото, та самая валюта, о которой так пекутся в столице.

Нет печали и молодому парню за штурвалом комбайна-подборщика до того, что чуть не половина прессованного сена на лугу, где он его убирает, не пойдет зимой в корм. Многозубая «лапа» не подбирает тюки, а разрывает их, и сено рассыпается по жнивью. «Что ж ты делаешь, друг?» — говорю ему, подойдя к комбайну. «А, хрен с ним, все равно, что и соберу — пропадёт!» — слышится веселый ответ паренька, обдающего меня густым сивушным духом... Льняноволосый синеглазый славянин, потомок стольких поколений крестьян, сгибавшихся, чтоб подобрать даже клочок сена, работает на поле пьяный. Нет, это не возделывание. Это прах возделывания, пепел погибшей культуры русского земледелия. И ведь никто не прогонит паренька с поля: еще бы, он — единственный на несколько окрестных деревень из молодежи, оставшийся в колхозе. А еще двадцать лет назад здесь было полно парней и девчат. «Неперспективными» стали эти деревни, лишились школы, магазина — и захирели. Устояли в страшную годину раскулачивания, возродились после войны, а сегодня — один-единственный парень шурует на комбайне. И весел его похмельный смех.

...Разрозненные стоп-кадры? Нет, просто разные грани одного и того же жуткого явления, имя которому — убиение, обезглавливание земли. Лишение людей и прошлого, и настоящего. И будущего. Лишение веры. Ибо что ждет и какая вера может двигать в их жизни тех немногих парней и девушек, которые еще остаются вот в этой самой местности. Нет, я даже не об окрестных вымирающих деревнях говорю, стоящих близ реки, в которой уже и купаться летом нельзя — начисто отравлена стоками свиноферм. А ведь никогда прежде крестьяне не держали скот у воды. Исчезли и последние пасеки: почва забита нитратами, сульфатами и прочими ядами, сыплющимися и из бункеров, и с неба, какие уж тут пчелы... Я говорю о молодежи, живущей в ближайшем райцентре. Намеренно не буду называть его: подобных ему десятка два в нашем крае. Как не буду называть и имен людей, о которых пойдет речь, — во-первых, для одних это небезопасно, у провинции свои законы, другие же и впрямь не виноваты, что стали «винтиками» командно-бюрократической системы...

Вместе с добрым знакомым, редактором «районки», заходим в местную библиотеку, в дом, который иначе как бараком трудно назвать. Юница с пламенем на щеках читает «Бурду» — «по блату достала». Смотрим стеллажи, фонды: они не пополнялись уже несколько лет, нет средств. «Правда, — сообщает библиотекарша, — кое-что сама добываю, уж не до жиру, что удастся, вот недавно «Детей Арбата» достала да несколько номеров «Нашего современника», но даю их читать только здесь. А подписка на село почему-то ограничена... А читают вообще люди в основном после тридцати. Кто помоложе, те к книгам вообще не приучены. Не читают, да и все тут. Да и нечего мне дать им почитать, что было б им интересно...»

Отчуждение от земли — и отчуждение от книги... Семен Гейченко написал в своем предисловии к книге «Завещанное», сборнику псковских литераторов, выпущенному радением местного отделения Фонда культуры (у которого, кстати, в областном центре нет даже комнаты своей, не то что дома): «Память! Если бы не было ее живых, рукотворных олицетворений — памятников слова, искусства, природы, — что стало бы с нами? Пришли бы духовная нищета и нравственное убожество!» Пожалуй, наш патриарх зря здесь употребил сослагательное наклонение, ибо во многом и многих людей эти беды уже поразили на моей родной земле.

Вот одно из самых очевидных и страшных «олицетворений» этих бед беспамятства. Облезлый районный ДК в стиле «сталинского ампира», в нем уже оборудован видеобар с западными боевиками и «порнухой», да еще — дискотека. Вечер, из ДК вываливается толпа подвыпивших ребят, стриженных «под панков», топчется, «тусуется» у дверей; кое-кто прыгает на свои мотоциклы без заглушек и с диким гоготом носится всю ночь по улочкам райцентра. Действительно, этим ребятам не до библиотеки. Кто тут виноват? — если поискать, виновников хоть пруд пруди, но ведь и они неповинны по высшему счету, будь то родители, учителя или милиция. Ибо *никто* не мог с первых лет вложить в юные души хоть что-то святое. Такой задачи не было в самой *системе* воспитания. И не могло быть. Ведь в том же райцентре давно скрыты прочным слоем дерна руины древней крепости и собора, свидетели древней славы предков, хранившие некогда и книжные сокровища. И даже речи не идет об их реставрации — зато нашлись деньги для возведения огромной «стекляшки» ресторана на 300 «посадочных мест», это в городке-то с населением в едва ли восемь тысяч человек...

...Что же, спросит читатель, совсем нечего автору вспомнить и сказать что-то доброе о нынешней духовной жизни своих земляков? Неужели вовсе истаяла их вольнолюбивая и крепкая натура, их любовь к труду и красоте? Нет, столь же искренне отвечу я — пока еще не совсем. Есть еще порох в духовных пороховницах, хотя с его запасами дела обстоят едва ли не печальней, чем с

бензином и сахаром. Оставляю в стороне такие «мероприятия», как, например, ежегодные Пушкинские праздники: они превратились ныне в явный «парад», в зрелища, не затрагивающие подлинное, глубинное развитие культуры. Но есть доброе и на глубине. В том же райцентре, да и в других, ему подобных, есть люди с поистине подвижническими сердцами. Есть они в селах — и пожилые, и юные, не побитые жизнью. Они отыскивают и собирают умельцев, помнящих старые ремесла, устраивают их выставки. Их заботами возрождается на Псковщине искусство гусляров, они не дают заглохнуть песенной стихии, организуют хоры, фольклорные общества. Из своей, чаще всего небольшой, зарплаты они жертвуют львиную долю на покупку книг для школьных библиотек. Они бьют тревогу, созывая своих земляков объединиться против вырубки заповедных лесов, загрязнения рек и озер всяческой отравой, против забвения и осквернения местных святынь. Не одно доброе имя я мог бы здесь назвать: не будь в моем краю таких людей — он бы уже давно зачах...

Но вот в чем печаль: почти никогда, даже и в самое последнее время их деяния не поддерживаются местной властью, ни партийной, ни советской, ни комсомольской. Чаще всего происходит обратное... Может, я слишком мрачно смотрю на действительность своей родины, но горька моя гордость за этих людей: плоды их трудов — капля в сравнении с мутным потоком духовного обнищания и беспамятства. И мне кажется, что звон гуслей и песни немногих подлинных, а не «пейзажных» народных ансамблей тонут и в оглушающих децибелах рок-групп, и в том сивушном гоготе, которым заливаются и хмельной халтурщик на комбайне, и «панк на тусовке»...

...А вот человек, который не смеется. Но ни боли, ни тревоги тоже нет в его ясных глазах. Он, этот человек, одетый в солидную «тройку», удивительно спокоен. Необычайно спокоен. Настолько, что я поражаюсь: неужели та сфера, за которую он отвечает, ничуть не заразила его присущей ей эмоциональной атмосферой. А он — один из тех, кто отвечает за состояние культуры в области. И наш разговор начался с перечисления моим собеседником множества «мероприятий», которыми отцы города и области облагодетельствовали либо собираются облагодетельствовать духовную жизнь потомков древнерусской республики. Тогда и я начинаю приводить факты. Не буду на этих страницах перечислять все из них: вот лишь самое основное, что я сказал своему высокопоставленному собеседнику — и его некоторые ответы.

— Знаете ли вы (не можете не знать, ведь об этом не раз писала центральная пресса, но никаких откликов, кроме формальных отписок, псковское руководство не дало), знаете ли вы, что главная святыня нашего города — Кром, суровый Кремль с его мощными стенами и белокаменной стрелой Троицкого собора, возведенный на плитняковом холме над Псковой и Великой по велению княгини Ольги — уже таким панцирем бетона и асфальта покрыт, что грунтовые воды стремительно рушат холм снизу, и, если дело так пойдет, то через несколько десятилетий от «Ольгина града», от Довмонтова городка останутся лишь руины?

— Знаете ли вы, что уже в ближайшие годы могут исчезнуть уникальные (XII века) фрески Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре, в том, где некогда хранился один из списков «Слова о полку Игореве»? Они включены в фонд ЮНЕСКО, но реставрация идет такими черепашьими шагами, что стены ветшают быстрее, чем восстанавливают росписи. И в таком же, если не в худшем состоянии — почти все жемчужины древнего зодчества и монументальной живописи города и области. Ветер гуляет в церкви Рождества Богородицы, в монастыре на Снятной горе, росписи которой относятся к школе Феофана Грека. Там все рушится, все изгажено, — кто там только не хозяйничает, только не реставраторы. Псковичи добились, чтобы одна из улиц города была названа именем Ю. П. Спегальского, свершившего подлинный подвиг, — на чертежах и картинах он дал полный и детальный проект восстановления в первозданном виде всех древних псковских палат и теремов. Но как обошлись с наследием подвижника? во что превращены сегодня эти палаты и терема? на них стыдно и жалко смотреть. Та же Солодежня или палаты Меньшикова (Яковлева) с их волшебной вязью каменных наличников — еще немного, и они станут руинами.

— Знаете ли вы, что беспамятство прежних десятилетий, когда в «богоборческом порыве» уничтожались (еще до войны, как красивейший Благовещенский храм в Кремле) не только православные святыни, но и костел, кирха, синагога, — что это беспамятство подновлено и подогрето новейшими, «кооперативными» веяниями? Даже в страшном сне не привидится то, что сотворили «просвещенные потомки», например, с церквями Успения с Полонища и Старое Вознесение. Первая из них отдана в пользование самодеятельному театру и кооперативному кафе «Сфера». Спроворено увеселительное заведение с дискотекой и баром. Под куполом храма звучит тяжелый рок. Кроме того (по гордому признанию режиссера Романовской), кооператив зарабатывает средства на различных развлекательных программах специально для интуристов... Старое Вознесение же (белый каменный витязь XV века) теперь именуется ГДК — городским домом культуры. Вот она, культура — «дизайн» из пустых сигаретных пачек, дым столбом, грохот, «видео» с соответствующим репертуаром, загаженный клозет. И еще — лекции по «истории рока». Вот такая история... И никто из посетителей этого ГДК не узнает из нее, что такое подлинное, славное прошлое их города. С традициями резчиков по дереву и серебряных дел мастеров, чьи творения, равно как и поливная керамика, прославили Псков далеко за пределами Руси. А ведь именно это, а не «тяжелый металл», тянет в наш край приезжих. Но никто из них не узнает, что Успение с Полонища всегда чтилась как *Назимовская* церковь, связанная с именем славного сына псковской земли декабриста Михаила Назимова. А разве не интересен был бы в этих стенах, например, рассказ местного писателя-просветителя Валентина Курбатова о 400-летии Псковской епархии, которое прошло совершенно незамеченным в городе; а чего стоит одно лишь имя Феофана Прокоповича, бывшего псковским архиепископом. Нет, святым сводам нашлось иное, прямо скажем — нечистое «функциональное применение». Знаете ли вы об этом?!

— Знаю, — невозмутимо отвечает мой собеседник. — Но при чем тут я? Исполком дискотеку не организует, мы лишь дали согласие на Дом культуры, а они сами выбирают себе формы работы. И вообще... сколько б там ваша пресса ни шумела, все пойдет так, как намечено. Потому что все идет по плану развития...

ПО ПЛАНУ! Вот здесь, пожалуй, мой собеседник, отвечающий за культуру, совершенно искренен, предельно правдив. Именно по плану — по некоему сатанинскому, варварскому, античеловеческому плану, согласно которому должно быть сведено под корень все прекрасное и святое на нашей земле. Все по плану обезглавливания земли. И людей: вот один из ответов на мой вопрос «когда это началось?», одна из давних страниц этого «плана», пример «функционального использования» древних зданий в моем городе — о нем пишет Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:

«...В одном только Пскове под многими церквами в бывших кельях отшельников были устроены пыточные и расстрельные помещения НКВД. Еще и в 1953 в эти церкви не пускали экскурсантов: «архивы»; там и паутины не выметали по десять лет, такие «архивы». Перед началом реставрационных работ оттуда кости вывозили грузовиками».

...Не все вывезли, мы, мальчишками, лазая по подземельям, видели эти жуткие останки. Учитель истории сказал: «Наверное, при Грозном пытали, казнили». А дед мой хмуро обмолвился: «Чека там заведовала». Заведовала...

(Впрочем, «развлекаловка» в храмах шла уже и в те времена, когда и расстрелы. В своей книге «Возвращение из СССР», многократно у нас проклятой, француз Андре Жид сообщает об одном из своих потрясений 30-х годов: «В другой церкви... мы присутствовали на танцах. На месте алтаря пары кружатся под звуки танго или фокстрота». Как говорится, есть традиция... Конечно, и

фокстрот, и дискотека — несколько более гуманные формы «функционального использования» святынь, чем застенки. Но только несколько... Так быть может, обезглавливание земли началось тогда, в 30-е? Или — раньше?)

Вот еще одна глава этого «плана», недавно созревшая в умах местного руководства, документ, именуемый «Предложения по реставрации и приспособлению памятников истории и культуры». Среди этих предложений — опять-таки устройство в старинных зданиях шашлычных, кооперативов и видеосалонов. А монастырь в Елизарове (тот самый, Спасо-Елеазаровский) предлагается приспособить под спортивный комплекс. ...Ох, знал бы старец Филофей про такой «документ» — вряд ли бы родилась в его уме идея Третьего Рима! Нет, не молчат мои земляки, возмущаются, протестуют (правда, в местную печать их протесты «не пущают»), вот строки из их письма в центр: «Горе и позор, нам, если такое начинание будет продолжено и в других памятниках!» Но власть предержащие на Псковщине не хотят слышать глас народа...

...— Ну, чего вы от меня хотите?! — наконец-то в голосе моего высокопоставленного собеседника появляются жалобно-возмущенные нотки. — Вы же представить себе не можете, какие крохи в бюджете города и области выделяются на культуру!

Отчего же не представить? Все на глазах. В то время, как новоявленные рок-группы и плодящиеся, как грибы, кооперативы занимают старинные и новые здания, у местных гусляров нет своего пристанища, и они, гастролирующие по стране и за рубежом, перед земляками выступают раз в год по завету. То же и с хором старинных песнопений, лишь изредка дают ему возможность показать свое искусство в какой-либо церкви. Силен еще воинствующий атеизм... В сараях ютятся реставраторы, а ведь у многих из них — всемирная известность. Недавно в «Псковской правде» появилось интервью с С. Ямщиковым, похожее по тревожной тональности на стон, слитый со звуком набатного колокола — редчайший «прорыв» на страницах областной газеты: обычно никакой полемики о будущем города там не допускается. По мнению маститого искусствоведа, лучшие традиции местного музея, некогда славного своими коллекциями, научной тонкостью и любовью в работе с творчеством предков, сегодня растеряны. Экспозиции иконописи псковской школы собираются наспех, лучшие образцы теряются среди ремесленнических поделок. Не больше везет и живописцам более поздних времен: так, покойный настоятель Псково-Печорского монастыря архимандрит Алипий (сам великолепный художник, ставший легендой в нашем краю) передал коллекцию работ русских художников XVIII—XX веков в дар музею — и ее упрятали под замок. Так же, как и множество древних книг.

А новая книжность? Городская детская библиотека фактически не существует, она «рассована» по нескольким местам. Дождь и снег в буквальном смысле пропитывают библиотеку Дома пионеров — впрочем, его уже и домом трудно назвать, построенный в тридцатых, он стал похож на лачугу с гипсовыми горнистами. В новом же, грандиозном по проекту, но уже многие годы возводимом Дворце пионеров библиотеке места вообще не будет отведено...

И это — по плану? Не по тому ли плану, согласно которому четверть населения областного центра (не говоря уже о районных) живет в строениях под известным кодовым названием «удобства во дворе», — зато рядом с обкомом и в других благоустроенных местах выросло несколько новых зданий с «нетиповой архитектурой», предназначенных явно не для простых смертных: не случайно земляки мои окрестили их метко и язвительно — «Дворянское гнездо», «Княжеский дом» и т. д.

— Словом, деньги нам нужны, *валюта прежде всего!* Тогда все проблемы разрешатся! — патетически заключает мой собеседник, добавляя еще несколько торжественных фраз, в которых магическим заклинанием звучит слово «валюта».

ВАЛЮТА!

Пора рассказать о самом страшном, что грозит сегодня Псковщине (и соседней Новгородчине). Ибо все сказанное выше — лишь цветочки. В старину Псков выдержал тридцать осад и ни разу не распахнул свои крепостные врата. Но нашествия, которое замыслено сегодня «державными коммерческими мужами», он не выдержит. Если оно свершится — будет перевернута последняя страница пресловутого «плана», другие уже не понадобятся.

Речь идет о превращении Пскова в «валютный древнерусский город». Править в нем будет не вече, не дьяк московский, не губернатор и уж, конечно, не горсовет, а — интуристская коммерция. Исходный пункт, документ, принятый на двух высших уровнях, Совмином СССР и правительством РСФСР в 1988 году — «О комплексной реконструкции и реставрации памятников истории и культуры в Новгороде и Пскове». Не знаю, о чем думали люди, готовившие это постановление, но уж точно не о сохранении хотя бы остатков древних архитектурных ансамблей двух некогда вольных городов и уж точно не о развитии духовного и материального бытия самих новгородцев и псковичей. Конечно, в постановлении есть и рациональное зерно: «все флаги в гости» — дело доброе, интуризм в умелых руках действительно может обернуться благом для моих земляков, валюта тоже нужна, спору нет, но — зарубежные приезжие должны быть у нас гостями, а не хозяевами. Однако как же конкретно и детально преломлен и разработан этот документ в планах соответствующих московских и местных контор? — Так, что зябко и стыдно становится. Готовятся, грядут тотальная «отелизация», «ресторанизация» и «дискотекизация» Пскова. Прежде всего, в исторической части города встанут три «пятизвездных» (высший знак международного туристского сервиса) отеля. Все храмы, башни, крепостные стены и палаты останутся в их тени, ансамбль псковского зодчества исчезнет начисто. Завеличье с его своеобычием ландшафта, с его Ивановским (XII век), Мирожским и Ильинским монастырями будет увенчано — верней, раздавлено — громадой интуристовского комплекса. Довод сторонников последнего: отель будет повторять своими железобетонными формами башни Кремля. Но зачем нам нужна сверкающая колоссальная пародия?

В войну фугасные бомбы не могли уничтожить то, что будет уничтожено теперь. Крутояр над рекой Псковой, где высится Гремячая башня, где все и поныне дышит вольностью, простором, где летом все утопает в буйной зелени — «утонет в модерне», исчезнет под напластованиями бетона и стали. Перечисление грядущих потерь заняло бы не одну страницу. Причем весь этот «звездный» комплекс валютной индустрии начинает строиться и будет строиться только зарубежными строителями. И дилетанту ясно: возникнет совершенно иная «стилистика» внешнего облика старины, начисто будет утрачен местный колорит — в лучшем случае появится, как уже не раз бывало в других городах, пошлейший «стиль рюс». Да и, наконец, чужими руками построенное — уже не свое, не кровно родное. Это ли не почва для возникновения новых поколений «Иванов, родства не помнящих»!

Здесь же — исток потерь, гораздо более страшных в перспективе, чем материальные. Хотя надо заметить: в предложенном плане не заложено проектов строительства *никаких* объектов «соцкультбыта» для самих псковичей. Ни новых больниц, ни новых бань, ни библиотек, ни кинотеатров. Ничего из того материального и духовного дефицита, от которого задыхается город. Не говоря уже о том, что задыхается он и в самом буквальном смысле: экологическое состояние воздуха и воды в нем уже на грани катастрофы. И уже сегодня небезопасно ходить по его ночным улицам: пьяные и «наколотые» лица юнцов, спортивного вида громилы из местных «рэкетиров» у злачных мест, да и в «интердевочках» недостатка уже не ощущается... Кому не ясно, чем обернется «свободная валютная зона» для этого края — расцветом проституции, наркомании, преступности. И это — тоже по плану?

Не хочу подобно некоторым народным депутатам швырять камни в союзное и республиканское правительства, но их постановление содержит в себе зерно

страшной грядущей трагедии для всей той земли, что когда-то звалась Новгородско-Псковской республикой. Не для того же ее взял под свою власть «Третий Рим», чтобы сегодня ее коренное население почувствовало себя лишним на своей родине. «Для кого все-таки город? — воскликнул на собрании общественности Пскова писатель В. Курбатов, — для иноземца или же для нас, псковичей, наших детей?» Но этот клич не был услышан отцами города и области. И я не задаюсь вопросом — о чем они думают? — ибо уже было сказано моими земляками не раз — «Без хозяина город, без головы область». Обезглавленная земля.

Слово «зона» по воле нашей недавней истории имеет и один весьма недобрый оттенок. Сей оттенок в моем повествовании очень уместен: «валютная зона» будет если не абсолютно закрытой, то, по крайней мере, очень ограниченной для въезда в нее соотечественников из других краев страны. То есть мне, например, коренному псковичу, живущему ныне в столице, придется ездить на родину по приглашению родных. Да, хоть в этом-то, но мы все-таки прибалтов переплюнем... Ей-богу, пишу эти строки, а самому хочется выйти на улицу и закричать во все горло: «Братцы, да что же это творится?! Русскую землю с молотка чужеземцам продают!» Боюсь только, что какой-либо приезжий из Тюменщины хмуро взглянет на меня и скажет: «Ну что ж, нефть и газ — тоже земля, а мы их гоним за кордон, валюта нужна!» Так что все — в единой цепи. Так когда же были выкованы первые ее звенья?..

...Неподалеку от места, где когда-то стояла наша деревня, где шумел дедов могучий сад, и поныне находится Мироносицкое кладбище, названное так по имени храма Жён Мироносиц, в котором некогда с проповедями выступали лучшие духовные ораторы России, и среди них — сподвижник Петра Феофан Прокопович. Долгие десятилетия этот храм был в запустении. Недавно в нем вновь была обоснована община, и на народные деньги началась его реставрация, пошли первые службы. И тут же — ночные грабители взломали двери, украли принесенные старушками иконы, умыкнули и ящик с деньгами, собранными жителями округи на восстановление. «Ничего святого для людей нет», — слышалось в тот день у Жён Мироносиц. А мне подумалось: может быть, те похитители просто органически не могут смотреть на стены храма как на святыню. Понятие святости изначально отсутствует в их жизни. Могло ли быть иначе — если сей ограбленный храм был превращен в «тюрзак», в место пыток (а потом в склад, а потом заброшен за ветхостью) в самые первые послеоктябрьские годы. Вот когда...

Приведу еще несколько слов из книги того же зарубежного писателя 30-х годов, горячо полюбившего Россию:

«Погрязший в низости и жестокости режим с самого начала попрал искусство, культуру, человеческие чувства. Это совершенная форма вражеского нашествия».

С самого начала... «Лихой косою только первый взмах сделать» — это уже Солженицын говорит о муках своей родины. С самого начала бездушная, вненациональная административно-командная система повела по плану обезглавливание земли. Сегодняшнее состояние духовной жизни этой земли можно определить древним изречением: «Мерзость и запустение в храме святом». Несколько лет назад, думая о судьбе своей родной земли и вспомнив это изречение, написал я такие строки:

Мерзость и запустение в храме святом? —
Слава Богу, что в храме, а не на руинах.
Значит, храм уцелел в динамитных лавинах,
и святая свеча вновь затеплится в нем.

А сегодня я в тревоге и в смятении думаю: затеплится ли?..

ПСКОВ — МОСКВА.

НА ВАШЕ ОБСУЖДЕНИЕ

1989-1990 годы — это годы не только издания книг А. И. Солженицына, но и их осмысления, прочтения. На долгие пятнадцать лет писатель и наш читатель были отлучены друг от друга. Конечно, оставался незадушенный «самиздат», незаглушенные «голоса», оставались книги писателя, проникавшие через таможенные заслоны, несмотря на все запреты. Но стена, возведенная всей мощью государственной власти, продолжала десятилетиями разделять нашу историю и нашу культуру. И вот — на наших глазах — она рушится. Ведь одновременно с Солженицыным к нам возвращаются Иван Шмелев, Алексей Ремизов, Борис Зайцев, Борис Алмазов, Роман Гуль и все Русское Зарубежье литературы, театра, музыки, балета, живописи, науки, вычеркнутое из исторической памяти народа. Разница лишь в том, что с Солженицыным все это произошло при жизни, он дождался часа своего возвращения. Более того, находясь в Вермонте, он настоял на своем требовании, чтобы все его произведения в СССР печатались только по его авторской воле, исключив таким образом уже начавшиеся было спекуляции на его имени. И в этом тоже сказался его максимализм, а точнее — непреклонность и непримиримость. Нам же хочется, чтобы читатели стали не просто свидетелями, но и участниками возвращения Солженицына. Поэтому, публикуя список его основных произведений, которые вышли и выйдут в наших издательствах и будут опубликованы на страницах журналов в ближайший год, мы предлагаем читателям — по мере прочтения этих произведений — присылать в редакцию письма-микрорецензии на них. Естественно, мы прекрасно понимаем, что на двух машинописных страницах трудно представить аналитический или критический разбор «Архипелага ГУЛАГ» или же исторической эпопеи «Красное колесо». Но отдельные темы и отдельные образы солженицынских героев все-таки можно выделить. В этих отзывах нам бы хотелось предоставить слово в «Слове» именно читателям, услышать и сделать достоянием гласности именно читательские отклики и читательские размышления при чтении — для многих первом — произведений, ставших столь значимыми в наших исторических судьбах. До конца года мы надеемся провести таким образом заочную читательскую конференцию по произведениям Солженицына. Ждем ваших откликов, дорогие читатели! А в качестве поощрения обещаем лучшие из отзывов постоянно публиковать на страницах «Слова», а также отметить их книгами А. И. Солженицына.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

1989

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ: В 3-х т. — М.: Сов. писатель — Новый мир.
РАССКАЗЫ / Один день Ивана Денисовича; Матренин двор; Для пользы дела и др., — М.: Современник.

1990

В КРУГЕ ПЕРВОМ — М.: Книжная палата.
НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ПРАВЕДНИКА: Сб. / Раковый корпус; Один день Ивана Денисовича; Рассказы — М.: Книжная палата.
АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО — Ставрополь: Кн. изд-во.
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ: В 3-х т. — М.: Книга.

1991

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7-ми т., Т. 1 — В круге первом; Т. 2 — В круге первом; Т. 3 — Один день Ивана Денисовича; Рассказы; Т. 4 — Раковый корпус — М.: Сов. писатель — Новый мир.

ЖУРНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1990

«Новый мир»
«В КРУГЕ ПЕРВОМ», «РАКОВЫЙ КОРПУС», «БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ».

«Звезда»
«АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО» (эпопея «Красное колесо»).

«Наш современник»
«ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО» (эпопея «Красное колесо»).

«Нева»
«МАРТ СЕМНАДЦАТОГО», Том 1 (эпопея «Красное колесо»).

«Дружба народов»
РАССКАЗЫ («Пасхальный крестный ход», «Как жаль», «Правая кисть»), главы «Марта Семнадцатого». Т. 3—4 (эпопея «Красное колесо»).



ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО

Сто лет назад (9 января 1890 г.) в шахтерском поселке Мале Сватоневице на северо-востоке Чехии родился Карел Чапек. Советский читатель хорошо знает его творчество: социальные антиутопии (пьесы «R.U.R.» и «Средство Макропулоса», романы «Фабрика Абсолюта», «Кракатит» и «Война с саламандрами»), антифашистские пьесы «Белая болезнь» и «Мать», философско-психологическая проза (романы «Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь», повести «Первая спасательная» и «Жизнь и творчество композитора Фолтына»), остроумные и человечные детективные рассказы. Менее известен у нас Чапек как публицист, эссеист, художественный и литературный критик. Именно эта область творческого наследия писателя — «белое пятно» для советского читателя.

Детство Карела Чапека прошло в краю, который он со своим братом Йозефом, тоже писателем, но прежде всего замечательным художником, назвали «садом Краконоша», горного духа, сказочного властителя пограничной гряды Крконоше. Этот живописный край, населенный горняками, ткачами и бедными крестьянами, чьи лачуги лепились по склонам гор, был овеян славой классиков чешской литературы Божены Немцовой и Алоиса Ирасека. Здесь, в краю языковой чересполосицы, где соседствовали чешские и немецкие села, в краю нетронутой природы и бурно развивавшейся промышленности, писатель увидел «два лика» жизни, прекрасный и отвратительный, и впервые задумался над тем, как должно относиться к ним искусство. Уже в пятнадцать лет он писал: «Кто принимает красоту и поэзию за нечто метафизическое, нечто ускользающее из оков жизни, по моему мнению, ошибается». Уж кого-кого, а Карела Чапека, который рос с детьми ремесленников и наблюдал бытие «верхов» через чугунные решетки, ограждающие парки немецких заводчиков и шахтовладельцев, как он вспоминает в эссе «Прирученное колесо» (1923), нельзя заподозрить в асоциальности и эстетстве. Но писателю, еще мальчиком увидевшему в рабочем «раба машины», а затем выступившему на защиту человека в бездуховном мире «роботов» (это слово он впервые ввел в лексиконы всех языков мира) и человекообразных «саламандр», было глубоко чуждо упрощенно-утилитарное отношение к искусству и литературе, были чужды поверхностные рациональные схемы, в том числе и «классовые».

Чапек высоко ценил фольклор. «Говорят, фольклор мертв, — писал он, — с тем же успехом можно было бы сказать, что мертва природа. Мы в состоянии ее убить или извести, но сама по себе она никогда не умирает. Мы в состоянии убить фольклор, но прежде нужно убить и весенние праздники, и мясопуст, и различные пиршества, и весь остальной веселый ритуал деревни, как его сумели извести у нас». Духом деревенского фольклора, олицетворением которого для писателя была его бабушка, мельничиха Гелена Новотна, пронизаны замечательные сказки Чапека. В народном читателе и зрителе, а не только в «классово сознательном пролетарии», писатель видел залог самого существования литературы и искусства.

В 1931 году Карел Чапек опубликовал книгу литературных эссе «Марсий, или На периферии литературы». Одна из центральных ее статей — «Пролетарское искусство» (1925) — до сих пор у нас не публиковалась. И не случайно. Взгляды чешского писателя не укладывались в наши тогдашние представления о должном и допустимом, а ведь подходил он к проблеме «пролетарского искусства» во многом шире и глубже, чем сторонники Пролеткульта, левого авангарда и «социалистического реализма». Читатель, вниманию которого мы предлагаем перевод статьи «Пролетарское искусство», может убедиться в этом и еще раз задуматься о вечности истин, которые дóлжно исследовать литературе. Мысли писателя теперь как никогда близки нам, ибо отвечают на многие вопросы, которыми задается сегодняшний думающий, неравнодушный читатель.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

Возможно, здесь я, как и во многих других случаях, заблуждался, но признаюсь, что я чего-то ждал. Рисовал в своем воображении пришествие новых людей, наделенных новой фантазией, обладающих новыми знаниями, первозданной неисчерпаемой потенцией и необычайной продуктивностью. Не то, чтобы я ждал чуда, но я ждал по крайней мере некоего раскрепощения. Исторжения пусть не слишком обильной, но действительно новой струйки, пробившейся из недр земли, из недр... новой земли пролетариев. Говорили, что нарождается новая, пролетарская культура, которая прежнюю, буржуазную, выбросит на свалку; говорили даже (и весьма самонадеянно), что она уже существует, и, пока мы пишем эти строки, в искусстве совершается революция. Ах, если б это было так!

Я не собираюсь говорить о художественных достоинствах того, что нам предлагают под маркой революционного искусства; тут есть вещи сильные и очень слабые, как и в искусстве католическом или каком-либо ином. Мне хотелось бы лишь удостовериться в пролетарских признаках этих произведений. Пролетарским искусством может считаться либо 1) искусство, создаваемое пролетариями, либо 2) искусство о пролетариях, либо 3) искусство, создаваемое для пролетариев, либо, наконец, 4) искусство, одушевленное идеями, под знаком которых происходит всемирное наступление пролетариата, — идеями коллективизма, революционности, интернационализма и так далее. Вот исходя из этих минимальных теоретических посылок и давайте попробуем выявить пролетарское искусство.

Искусство, создаваемое пролетариями, — Юлиус Баб воспринял это буквально и попытался собрать стихи, написанные рабочими. Этого оказалось немного, причем девять десятых стихов в формальном отношении являются производными от поэзии буржуазных романтиков, а их содержание определяется склонностью авторов к программным декларациям; и примечательны они лишь постольку, поскольку писаны не теми, кто с грехом пополам одолел гимназию, а рабочими-самоучками — правда, то обстоятельство, что они самоучки, не помешало им прочесть Уолта Уитмена и быть либералами, вроде Рихарда Демла. Мне кажется, любой бакалавр, какое бы образование он ни получил, может быть столь же мало обременен литературной традицией, как и кирпичник, а рабочий в свою очередь способен писать столь же тонко и литературно, как, скажем, Раскин, если у него есть к этому способности и если он даст себе труд заняться этим. Возможно, в будущем, когда у людей окрепнет чувство собственного достоинства и условия жизни станут более человечными, найдется гораздо большее число рабочих, которые сядут дома над четвертушками писчей бумаги; возможно, среди них объявится великий и совершенно новый поэт, но это будет таким же чудом природы, как и появление подобного поэта среди фармацевтов, банковских служащих или писателей.

Количественно преобладает искусство, создаваемое интеллектуалами, которые по тем или иным причинам заявляют о своей приверженности пролетарской революции. Что ж, возможно (и в большинстве случаев даже наверняка), это оказывает весьма сильное влияние на содержание их творчества. Бернард Шоу во всех своих проявлениях, бесспорно, социалист, но еще никто не назвал его пьесы пролетарским искусством. Анатоль Франс, безусловно, был ничуть не меньше социалистом, чем, к примеру, депутат Гакен, но, конечно же, никто не назвал его «Современную историю» пролетарским искусством. Многие молодые пииты у нас и в других краях помахивают в своих стишках флажком революции, хотя несколькими строками раньше они выставляли напоказ юбочку своей возлюбленной или изумлялись дуговой лампе; простите, может быть, это и архиново, но это отнюдь не пролетарское искусство. Сколь бы революционно ни кричали они, это всего лишь элитарная лирика, сфера распространения которой ограничена крайне узким литературным кругом.

Странно, что в связи с пролетарским искусством никто не ставит вопрос в таком аспекте: возможно ли новое и при этом городское народное искусство? Сельское народное искусство нам известно весьма хорошо, какой бы страны это не касалось; мы знаем о том, что существует и что из себя представляет народная поэзия, народная песня, народный сказ, народный орнамент, народная архитектура. Знаем также, что все это возникло не на пустом месте, а является большей частью народной обработкой культур более или менее аристократических или буржуазных; и тем не менее это — народная, своя, анонимно создаваемая культура. Разумеется, чем дальше, тем меньше приходится ожидать, что девушка из Вршовиц будет вышивать фартук или что молодожен из Рафанды будет вырезать и раскрашивать дубовую люльку для будущего своего младенца. Само промышленное производство, то есть исконная почва, на которой возник пролетариат, подавляет подобного рода вспышки индивидуального творчества. Горожанин перестал производить для себя, и в общем-то это естественно, что его труд, обретший практическую цену денег, не растрачивается столь изысканным и экономически невыгодным способом, каким является ручная фольклорная работа. Допустим, промышленный пролетариат очень беден, но он не примитивен; возможно, его тарелка щербата, но это тарелка из фарфора, а не из глины. Народное же искусство изысканно и примитивно одновременно; пожалуй, к обеим этим крайностям возврата уже нет. Как бы мы ни относились к пролетарскому искусству, похоже, пролетариат будет скорее его объектом и потребителем, чем субъектом и производителем. К этому, впрочем, ведет и производственная специализация.

Можно под пролетарским искусством подразумевать искусство, темой и предметом которого является пролетарий и его жизнь. Однако это не кажется нам чем-то абсолютно новым и небывалым; не кажется нам также, чтобы, к примеру, литература наших дней так уж рьяно бралась за этот материал. Было бы хорошо для жизни и литературы, если бы у нас имелся, скажем, роман о машинисте, столь же монументальный, как «Илиада», или эпос о прядильщике, такой же увлекательный, как, предположим, романы о красивой и большой актрисе. Много еще чего предстоит открыть в человеческой жизни и человеческом труде, но достигнуть этого не поможет никакая программа. Нельзя требовать от пана Сейферта, чтобы он написал роман из жизни шахтеров, коль скоро он эту жизнь досконально не знает; не пошло бы на пользу делу, возьмись я писать роман из жизни сборщиков хмеля, потому как моя необычная, причудливая судьба не свела меня с ними поближе. Благие намерения тут ничего не значат, все дело в приобретении опыта и весьма конкретных жизненных обстоятельствах. Мне бы только не хотелось, чтобы на пролетариат смотрели как на какого-то особенного, диковинного зверя; нет ничего более буржуазного, чем щекочущий нервы интерес к «низшим слоям» и их живописному быту.

В конце концов литература о трудовом люде — ничуть не больше пролетарское искусство, чем, скажем, роман о принцессе Мелузине — типичное отражение жизни аристократического общества.

Искусство для пролетариата, — с этим, кажется, было и будет больше всего недоразумений. Обычно под этим подразумевается литература, густо намазанная революционной тенденцией. При этом высоких требований к искусству не предъявляется, к читателям из пролетарской среды — тоже. Это — пережевывание определенных политических тезисов в «увлекательной» форме, к сожалению, обычно не ахти какой увлекательной. Тенденцию в искусстве я вовсе не отвергаю с каким-то там чувством физического омерзения, но тенденциозность в моем понимании — это когда настоящие поэты опережают эпоху, а не трусят с криком вслед за нею. Революцию возглашают перед революцией, а отнюдь не во время революции; если и впрямь совершается революция, как нас уверяют, то впору говорить о том хорошем, что должно быть после нее. Все может позволить себе искусство, оно может придумывать фей в лесах и ангелов среди людей, но лгать оно не имеет права; оно не имеет права искажать в угоду каким бы то ни было посторонним, не свойст-

венным ему целям то, что есть на самом деле. Это старо, как дедовская жилетка, но никакой, даже самой крикливой расцветки, новый галстук не превратит эту жилетку в нечто зряшное. Искусство на потребу политической партии — это еще не искусство.

Остается, наконец, искусство, пролетарское в том смысле, что его эстетика, его стилистические средства питаются идеологизированными словами, каковыми обозначают революционное движение пролетариата. Некоторые пииты воображают, будто вносят свою лепту в мировую революцию, учиняя беспорядок, скажем, в области полиграфического оформления стишков. Другие полагают, что участвуют в движении масс, дискутируя о возможностях театра толпы. Третьи утверждают интернационал тем, что пишут о матросах или вставляют в одну и ту же строку Тимбукту и Ливерпуль. А иные присоединяются к промышленным рабочим посредством воспевания станков тяжелой промышленности и так далее. Во всем этом много дельного и много наивного. Скажем, театр толпы может быть великолепен, но он слишком дорог, чтобы стать пролетарским развлечением. Или вот упразднение пунктуации — штука довольно занятная, по крайней мере для того, кто этим занимается; что же до литературных интересов самого пролетариата, то, думаю, в большинстве своем он придерживается точек и запятых, располагая их на обычных местах. Вообще не похоже, чтобы революционные массы несли с собой и новый революционный вкус. Пока это — прерогатива весьма элитарных литераторов, творцов, которые от пролетариата весьма далеки.

Таким образом, я полагаю, что ни одна из названных разновидностей искусства не может без известной натяжки именоваться искусством пролетарским. Но, возможно, без долгих слов мы сойдемся на другом, разумеется, весьма упрощенном определении: пролетарское искусство — это искусство, которое пользуется спросом пролетариата, ибо является его жизненной потребностью. Если пролетарию гармоника милее четвертьтональной музыки, то давайте говорить о гармонике, а не о музыке будущего. Разумеется, я исхожу из предположения, что в своих привязанностях он будет предоставлен самому себе, что заботливые и платные вожаки не станут навязывать ему обязательное, так сказать, чтение в рамках пролетарского культпросвета. Признаюсь, — и от лица многих других, — мы знаем крайне мало о том, что читает и любит пролетариат, когда он предоставлен самому себе. Предполагаю, что удовольствие ему доставляет скорее добротный приключенческий фильм, нежели собрание сочинений Маркса; полагаю, что по крайней мере в этом отношении между ним и нами, остальными, большой разницы нет. Я думаю, что он охотнее читает романы, чем стихи; а среди романов и сейчас предпочел бы «Графа Монте Кристо» Илье Эренбургу. Наверняка есть книги, которые он предпочтет старому Дюма, но не мы, друзья, написали их.

Большинство новых книжек, которые я читаю, часто поражают меня тем, к сколь узкому кругу лиц они обращены. Возможно, вы объявите меня консерватором, если я скажу, что старые книги адресовались к большему числу людей; а если взять древнейшую литературу, то она предназначалась для еще большего числа, — она предназначалась как для властелинов, так и для тех, кто пас овец. Общественность, к которой мы обращаемся своим творчеством, — лишь символическая, так сказать. Это всего-навсего горстка чудаков, которые в силу каких-то довольно таинственных причин интересуются искусством или нами. Не говорите, что мы пишем для буржуазии или для народа, или для определенного слоя людей; мы имеем дело лишь с крайне ограниченным кругом весьма недюжинных и одиноких индивидуумов, о подлинной жизни которых мы и понятия не имеем. Нам нужны парикмахеры и портнихи, шьющие сорочки, но вряд ли парикмахеру или швее из конфекциона нужны именно мы и наши книги. Нужно ли им вообще искусство? По-видимому, да, ведь они хотят иногда развлечься, и я считаю это желание вполне оправданным, не вижу в нем ничего зазорного. Не одергивайте меня, я хочу быть искренним, хочу признаться, что смотрю на искусство как на возможность развлечься или, если угодно, утешиться. Я сознаю, что у искусства есть еще и другие, великие и потаенные задачи, но и эта (быть утешением) — не из последних. Безусловно, потаенным предназначением кремневого топора было поспешествовать развитию человеческого инструментария и стать однажды свидетельством о начальной стадии цивилизации; но непосредственным и насущным назначением его было убить волка или медведя. Насущным назначением искусства является убить скуку, тоску и серость жизни; если оно делает больше — тем лучше, но если оно этого вообще не делает, то оно — плохой кремневый топор, потому что не защищает от чудовищ, пожирающих нас.

Поэтому я хотел бы утверждать, что мир действительно нуждается в пролетарском искусстве, которое доставляло бы живейшее и страстно желаемое удовольствие мостильщикам, чернорабочим, шахтерам, работницам и всем остальным. Да, конечно, в известной степени это — кино, но ведь я говорю об искусстве, а кино не так уж часто дает основание относить его к сфере искусства, в большинстве случаев оно является измеряемым промышленным товаром, вроде ситца, коленкора или газет. Тем не менее даже весьма посредственный фильм указывает на то, что именно близко сердцу городского, относительно испорченного, удрученного жизнью человека, — это определенные, естественные и непреходящие ценности, такие, как любовь, мужество, смекалка, красота, оптимизм, великие и волнующие деяния, подвиги, приключения, справедливость и другие мотивы, почти не изменившиеся от сотворения мира. Изумление и симпатия — и сегодня неисчерпаемые и глубокие источники наслаждения для народа; вероятно, их существует больше, но все они столь же элементарны и неодолимо человечны.

Если бы надлежало родиться новому, народному, то есть народом воспринимаемому искусству, оно, по-видимому, должно было бы самым непосредственным образом, широко апеллировать к этим общечеловеческим и простонародным началам, но ни в коем случае не снисходить до них благосклонно, а продираться к ним ценой труда и вдохновения, без чего большое искусство немыслимо. Оттолкнуться следовало бы от расхожих поделок, а никак не от произведений для избранных; следовало бы присмотреться ко всякого рода стародавним, традиционным жанрам (к ним я отношу «Из зала суда», кинофильмы на сюжеты героических эпосов, дешевые романы и другие недооцененные источники) и на этой основе творить новое искусство. Ах, если бы я мог предсказать, как это сделать, я бы не писал этой статьи, а засел за роман; в нем говорилось бы о любви, о героизме и других великих добродетелях, и был бы он таким прекрасным, таким сентиментальным и возвышенным, что каждый экземпляр его переходил бы из рук в руки, из рук, потрескавшихся и распухших от стирки, ржавых от кирпича, испачканных чернилами, в другие руки, с отметинами другой, но тоже нелегкой жизни, пока у всех книжек не потерялся бы титульный лист и ни одна душа уже не знала бы, кто это написал. Да и не нужно было бы знать, потому что каждый нашел бы там самого себя, как в песне находит самого себя поющий: «Молодость так мало в жизни повидала...». Быть общедоступным, быть бесконечно и свято обиходным — вот недостижимое совершенство, приводящее нас в отчаяние.

Скажете: все это не имеет ничего общего с пролетариатом, осознавшим свою классовую принадлежность? Возможно. Но с людьми, люди, это имеет много общего, причем, как раз с тем классом людей, о котором искусство чаще всего забывает.

Перевод с чешского И. ИНОВА.

КНИГИ КАРЕЛА ЧАПЕКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ВОЙНА С САЛАМАНДРАМИ. М.: Радуга, 1985.
РАССКАЗЫ. М.: Худож. лит., 1985.
ГОРДУБАЛ. Пьесы. М.: Правда, 1986.
САТИРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ. Сказки. М.: Правда, 1987.
РАССКАЗЫ. Очерки. Юморески. М.: Правда, 1988.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 7 т. М.: Худож. лит., 1977.

Отделить атеизм от государства

В наши дни началось не только политическое, но и духовное обновление общества. Отменены некоторые негласные запреты, ставившие религию как бы вне закона, а религиозные идеи — клеймившие как опасную крамолу, подрывающую устои нашего государства.

Прошел лишь год, а уже определенно видно, насколько нелепыми, лживыми, вредными для общественного сознания были подобные запреты и тайные, а то и явные, гонения. По радио мы слышим духовную музыку, телевидение предоставляет нам возможность заглянуть в действующие храмы, побывать на богослужениях, послушать высказывания деятелей церкви. На последних выборах в Верховный Совет (первых выборах в нашей стране, когда гражданам была предоставлена не слишком широкая, но реальная возможность для выбора кандидатов) представители церквей пользовались явным предпочтением у избирателей. И этот факт может даже вызвать недоумение: как же так произошло после семи десятилетий подавляющего господства атеизма и при официальной причастности к атеизму большинства граждан нашей страны, не говоря уже о членах КПСС?

Но факт остается фактом. И хотя раздаются отдельные суровые голоса, призывающие запретить средствам массовой информации доброжелательно или даже нейтрально упоминать о религии, народные массы совершенно определенно поддержали государственную политику, направленную на реализацию свободы совести, вероисповедания. Создается впечатление, что десятки миллионов верующих стали таким образом активными сторонниками перестройки. К тому же церковные организации оказали и оказывают значительную поддержку фондам мира и милосердия, инвалидам Афганистана, пострадавшим от стихийных бедствий в Армении и других регионах страны.

Правда, возникает вопрос: а не теряет ли при этом наше общество идеологическое единство? Не подрываются ли опоры научного мировоззрения? Не унижаем ли мы личное достоинство советского человека, о котором еще недавно слагались такие возвышенные строки:

> По полюсу гордо шагает,
> Меняет течения рек,
> Высокие горы сдвигает
> Советский простой человек.

На подобные вопросы можно бы отвечать основательно и логично, приводя различные мнения и соответствующие доводы. Однако поступим проще: обратимся к реальности, к нашей конкретной жизни. Взглянем вокруг, припомним то, что слышим постоянно от окружающих и читаем в прессе, вспомним события последних лет, трудности нашей экономики, страшное падение нравственности, катастрофическое состояние окружающей природной среды... Вот очевидные и суровые ответы.

Конечно, атеизм по сути своей есть возвеличивание человека, над которым в природе вроде бы не остается никаких владык, никаких высших сил. Этой борьбой за возвышение человека руководствовались и вдохновлялись многие теоретики атеизма. Свобода личности! Что может быть прекрасней и благородней?

На практике ситуация оказалась значительно сложней. Отвергнув высший разум, высший нравственный закон, «простой человек» вынужден был исповедовать культ начальства, политических вождей, атеистической идеологии, возведенной в ранг неоспоримой истины, то есть полностью подменившей догматическую религию. Но с некоторыми существенными изменениями: вместо культа абстрактного всевышнего существа — культ конкретных вполне обыденных людей; вместо культа предков — культ потомков, то есть тех, кого не было и нет и о ком имеются лишь самые фантастические представления; вместо всечеловеческой морали — классовая и партийная, не столько сплачивающая, сколько разделяющая общество; вместо апологии любви, добра — апология классовой и межгрупповой ненависти в борьбе за власть и привилегии...

Понятно, столь общие формулировки не учитывают разнообразие мнений и течений как в среде верующих, так и среди атеистов. Однако и на этот раз обратимся к реальной действительности.

Совет Народных Комиссаров принял 20 января (2 февраля) 1918 г. декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Акция совершенно естественная, если учесть, что господствовавшая православная церковь не сочувствовала новой власти, а то и активно выступала против нее. В последующем, после упорного сопротивления, православная церковь отказалась от притязаний на политическую деятельность, а в труднейшие годы Великой Отечественной войны на деле подтвердила свою поддержку Советского государства. Впрочем, такова была давняя традиция Русской церкви: выступать за освобождение от иноземного ига, всеми силами бороться за Отечество (культ предков у земледельческих народов обычно сопряжен с культом родной земли, отеческих могил).

А теперь хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое почему-то с 1918 года остается в тени, забвении. Явный и вполне законный декрет «Об отделении церкви...» сопровождается неявным, если так можно сказать, антидекретом. Дело в том, что произошло слияние атеизма с государством и школой. Иначе говоря, атеизм стал государственной религией (как известно, по Л. Фейербаху атеизм — разновидность религии; действительно, утверждения «Бог есть» и «Бога нет» одинаково недоказуемы на основе науки, если исходить из определения понятия «Бог» во всех главнейших религиях: безвиден, всюден, всемогущ и т. д.).

Казалось бы, что плохого в том, что государственная религия признает безмерное величие человека? Пусть даже наш опыт постоянно доказывает, а неизбежность смерти предсказывает ничтожную малость человека перед Космосом, силами природы, некими вселенскими законами. Но вроде бы даже иллюзия величия должна наполнять сердца гордостью, а разум — дерзанием.

Увы, и в этом случае реальность решительно опровергает подобные рассуждения. Чудовищные волны террора периодически прокатывались в нашем обществе. Атеизмом они «благословлялись» и приветствовались. Пришли в упадок системы народного образования и здравоохранения в нашей стране, несмотря на немалые затраты и огромные массы соответствующих служащих. С того времени, когда была провозглашена монополия на «единственно верное материалистическое мировоззрение, опирающееся на «научный атеизм», отвергались наиболее перспективные направления научной мысли, практически все философские учения XX века.

Значит ли все это, что необходимо добиваться скорейшего запрещения атеизма? Нет, конечно. Более того, было бы полезно привести его в соответствие с научно-философскими достижениями нашего века (что сделать не так-то просто), избавить его от узколобых догматиков и жуликоватых демагогов, от идейной спекуляции и проституции. Ибо слишком многим атеизм стал не служением, а службой, способом получения личных благ и привилегий; он превратился в уютную экологическую нишу для бездарных пропагандистов и агитаторов, малообразованных «мыслителей», позорящих одинаково и науку, и философию, и атеистическую религию.

Очиститься от таких «попутчиков», которые безмерно опаснее и вреднее любого идейного врага, можно простейшим способом. Так

Геркулес очистил авгиевы конюшни благодаря не силе своей, а смекалке. Надо лишь лишить эту тунеядствующую армию бесплатных общественных кормушек, перевести ее на хозрасчет. То есть — отделить атеизм (наравне с церковью) от государства и народного образования.

Еще раз повторю: сам по себе атеизм, как философско-религиозное учение, как идеология, не может вызывать у любого образованного, интеллигентного и вообще нормального человека каких-то принципиальных возражении. Скажем, из нескольких систем брахманизма одна совершенно атеистическая, и все они благополучно уживаются многие века. Любая идейная борьба взаимно укрепляет обе спорящие стороны, заставляет искать аргументы, сомневаться, доказывать, творить. Но ведь у нас воинствующие безбожники находятся, в сущности, на государственной службе и поддерживаются (уточним: на народные средства, отчасти изымаемые у верующих) всей мощью государственного аппарата. Неудивительно, что при этом положительные результаты ничтожны, а отрицательные удручающе велики. Ведь при такой гигантской поддержке и полнейшей монополии немудрено одряхлеть, обессилеть, интеллектуально «ожиреть». Идейная гиподинамия!

Значит, отделение атеизма от государства и просвещения должно не только очистить ряды сторонников этой идеологии, но и укрепить их интеллектуальный потенциал, избавить атеизм от нынешней антинаучности (ведь любое учение, которое не позволяется критиковать и которое укореняется и поддерживается преимущественно административными мерами, остается вне науки, философии).

Итак, согласимся: за семь десятилетий своего административно-политического господства атеизм не укрепил нравственных устоев нашего общества, не содействовал прогрессу науки, просвещения, законности, поощрял мероприятия, направлённые на истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Зачем же нам всем, нашему государству нести эти идейную обузу? Если все другие религиозные организации у нас на хозрасчете и не только самоокупаемы, но и приносят стране немалые доходы, то почему бы не применить тот же самый принцип? Не станет ли это еще одним шагом к духовному оздоровлению и возрождению нашего общества?

РУДОЛЬФ БАЛАНДИН,
писатель

В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

КОМПОЗИТОР И УЧЕНЫЙ

К сожалению, личная и творческая судьба Цезаря Антоновича Кюи практически неизвестна даже поклонникам классической музыки. А между тем это — выдающийся русский композитор, член балакиревского содружества, интереснейший музыкальный критик, пропагандист идей и творчества «Могучей кучки», крупный ученый в области фортификации, инженер-генерал.

Недавно в издательстве «Музыка» в серии «Русские и советские композиторы» вышла книга, рассказывающая о жизни и творчестве Ц. А. Кюи. По существу это первая биография композитора. До сих пор подобных изданий у нас не было. Автору книги А. Ф. Назарову пришлось проделать огромную работу, изучить большое количество архивных документов, периодических изданий того времени. В книги использована мемуарная литература, переписка многих известных композиторов.

Большое внимание уделяется в ней истории создания музыкальных произведений Ц. Кюи. Отдельные главы посвящены работе композитора над операми «Вильям Ратклиф», «Анджело», «Кавказский пленник». Здесь же проанализирована его инструментальная музыка, вокальные сочинения. Автор приводит отзывы на эти работы критиков В. В. Стасова, Б. В. Асафьева, композиторов Ф. Листа, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, которые высоко оценивали творчество Ц. Кюи. А. Ф. Назаров подробно рассказывает о малоизвестной читателям публицистической деятельности Ц. Кюи, который одним из первых начал пропагандировать русскую музыку в зарубежной прессе. На страницах газет и журналов он отстаивал существование русской оперы, русского музыкального искусства. В своих статьях Ц. Кюи подробно анализировал творчество таких близких ему по духу композиторов, как Глинка, Даргомыжский, полемизировал с А. Н. Серовым и другими известными критиками. Последние статьи композитора были посвящены актуальной и для нашего времени проблеме модернизма в русском и зарубежном искусстве. В частности он писал: «Он (модернизм — Д. К.) проник всюду и создан людьми или малоталантливыми, или бездарными, желающими стать гениями. Для этого они решили делать все иначе, чем делали до сих пор, стали в искусстве ходить на руках и кушать ногами. В живописи явились зеленые облака и голубая трава... в поэзии дикий набор слов, лишенный всякого смысла; в музыке отсутствие музыки и замена ее звуком и поисками звучности. Результат: полная бессодержательность, дикая и глупая какофония, безличность, однообразие и скука».

Большую известность приобрел Кюи и в военно-инженерной области. Он был одним из основоположников современной русской фортификационной науки. Весь офицерский корпус русской армии в течение многих лет учился по работам Ц. Кюи. Этого человека вообще невозможно представить вне общественных интересов передовой русской интеллигенции.

Все собранные материалы удачно дополняют друг друга и помогают воссоздать творческую атмосферу конца XIX — начала XX века.

Думается, что книга заинтересует читателя и поможет ему по достоинству оценить самобытного русского композитора, чье творческое наследие до конца не изучено.

Д. КОСТРОВА

А. Ф. Назаров. ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ КЮИ. — М.: Музыка, 1989 (Русские и советские композиторы).

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Муромцева-Бунина В. Н. ЖИЗНЬ БУНИНА. Беседы с памятью. — М.. Сов. писатель, 1989. — 512 с. — 5 р. 100 000 экз.

СЛОВАРЬ АНТИЧНОСТИ / Пер. с нем.: Редкол. В. И. Кузищин и др. — М.: Прогресс, 1989. — 704 с., ил. — 15 р. 150 000 экз.

Древнерусское искусство: Худож. памятники рус. Севера / Отв. ред., сост. Г. В. Попов. — М.. Наука, 1989. — 376 с. — 4 р. 30 к. 10 000 экз.

КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУРЫ? / Сост., подг. текста, подбор ил., предисл. В. Рабиновича. — М.: Искусство, 1989. — 423 с., ил. — 7 р. 10 к. 50 000 экз.

Унбегаун Б. О. РУССКИЕ ФАМИЛИИ / Пер. с англ.; Общ. ред. Б. А. Успенского. — М.: Прогресс, 1989. — 441 с. — 3 р. 40 к. 50 000 экз.

Ковалев Н. И. РАССКАЗЫ О РУССКОЙ КУХНЕ. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 255 с., ил. — 15 р. 150 000 экз. — При участии коop. «Камелопард».

ВРЕМЯ

Идеи. Диалоги. Поиски.

Роль книги, особенно в пору революционных преобразований, общеизвестна. Поэтому нет особой нужды подчеркивать здесь, почему понятие книга — общество — перестройка, то есть взаимосвязь общественных, политических и культурных явлений нашей сегодняшней жизни, требует не только нового осмысления, но и самого разного подхода. Только на этом пути нас ожидают зримые перемены в содержании советского книжного дела. Именно этой проблеме и была посвящена недавняя первая научная сессия Института книги с участием общественных и политических деятелей, ученых, работников издательств. Из прозвучавших на этой сессии выступлений редакция предлагает вниманию читателей журнала два, в которых содержится ряд новых, либо малоизвестных широкой публике, даже неожиданных суждений.

Фото АЛЕКСАНДРА КАРЗАНОВА



ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ, народный депутат СССР

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ

книга и перестройка
мнение политолога

Проблемы незавидного состояния нашего книгоиздательского дела продолжают волновать миллионы советских людей: и читателей, и издателей, и писателей. Но особенно остро надо дебатировать вопрос о новой книжной продукции. Дело в том, что уровень современного книгоиздания, интеллектуальный потенциал общества определяется не валом — голым количеством выпускаемых экземпляров книг, а числом новых, не печатавшихся прежде произведений. Это и должен быть главный критерий эффективности деятельности отрасли. К сожалению, по этому критерию мы не идем ни в какое сравнение ни с США, ни с другими странами Запада. Директор научно-исследовательского института книги профессор А. И. Соловьев называет такую цифру: один к двум. Другими словами, мы якобы выпускаем первоизданий в два раза меньше, чем США. Я не подсчитывал, но по мо-

ему опыту непосредственного наблюдения западного книжного рынка более реальным видится соотношение один к тридцати или даже один к пятидесяти. Никак не иначе.

Когда я бываю в той или иной западной стране, непременно захожу в книжные магазины, и меня охватывает чувство глубокой зависти. С грустью думаю о том, что, наверное, на своем веку не увижу на наших прилавках такого обилия и таких изданий о политике, по искусству, книг биографического жанра, который мне наиболее близок, книг, абсолютно одна на другую не похожих ни по виду, ни по содержанию. И совершенно очевидно, что если и впредь мы будем продолжать заботиться только о вале, ничего похожего так и не увидим.

На своем веку я просмотрел, хотя бы подержал в руках по крайней мере тысячи книг наших издательств, но никогда не видел такого обилия привлекательных обложек, разнообразия шрифтов и форматов, таких многообразных иллюстраций, как в книжных магазинах западных стран. Наши экономисты-издатели должны больше всего думать именно в этом ключе: как сравняться, как хотя бы приблизиться... Надо меньше рассуждать о перестройке книжного дела вообще, а больше об издании хороших книг, учитывать главным образом, не то, как перестраивается аппарат Госкомпечати СССР и издательств, а то, что же действительно нового и хорошего получают читатели.

Мне памятно выступление одного нашего крупного писателя, секретаря Союза (я не хочу называть его имя — ситуация, которую опишу, довольно типична для так называемых секретарей литературы). Он сказал, что его произведения были изданы тиражом чуть ли не в двести миллионов экземпляров, а книги Толстого и Достоевского меньше. Я спросил у Б. И. Стукалина, тогдашнего председателя Госкомиздата СССР, в чем дело, как же обеспечивается распространение тиражей. Он сказал: очень просто, дается указание библиотекам заказать столько-то книг данного автора, и вот уже тираж в миллион экземпляров обеспечен. Таким образом вообще можно издавать что угодно и в любом количестве. Пора покончить с этой практикой, если она еще существует. Постыдно, безнравственно заполнять полки больших и малых библиотек книгами, которые почти никому не нужны.

Следующий больной вопрос — надо издательствам переориентироваться на живых авторов, пока они живы. Сейчас много выпускают, например, Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского. Почему их не издавали раньше? Потому что над всем довлели разные культы, нарушения морали и нравственности, мешали злоупотребления властью, положением, существовали приоритеты личного вкуса. Так и хочется воскликнуть: товарищи издатели, ищите живых, не ждите, пока они умрут и станут легендами, ведь будет стыдно, когда придется готовить посмертные произведения и сожалеть!..

Не могу не сказать и о массовой политической книге, к которой имею прямое отношение. Сегодня уместно снова и снова во весь голос настойчиво говорить о необходимости ее радикального изменения. Люди моего поколения хорошо помнят песню, которую с удовольствием распевали после марта 1953-го: «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознаний познавший толк...» У нас несчетное количество раз издавали «товарища Сталина», много — Хрущева и особенно «горячо любимого Леонида Ильича», который не написал ни одной строчки своих «выдающихся трудов». Их истинные авторы тщательно прячутся сегодня от общественного взгляда, хотя, казалось бы, получены самые высокие премии... Нет, очевидно не за то.

До перестройки слово советолог было чаще всего сродни понятию «подрывной элемент». Кто у нас только не «плясал» на советологических изданиях! Теперь же мы свободно и с глубоким интересом знакомимся с целым рядом этих «антисоветских» книг. И что же видим — оказывается, среди советологов есть прекрасные специалисты по разным вопросам. Но не надо кидаться в крайности — забывать, что и в собственном Отечестве есть талантливые ученые и публицисты, которые готовы откликнуться на любую острую тему. В конце концов можно и нужно создавать книги-диалоги умных, беспристрастных людей «оттуда» и политологов с нашей стороны, чтобы совместно лучше разобраться в проблемах.

Требуется незамедлительное создание нового типа политической книги, которая бы заметно помогала разрушению сложившейся у нас за годы культа личности и застоя авторитарно-патриархальной политической культуры и созданию максимально демократической, универсальной, а не избирательной книги данного направления.

В этой связи следует сказать о затянувшемся ожидании издания архивных материалов. Сейчас кто только не резвится по поводу Сталина! Писал о нем и я, хотя главным для меня в этой теме был протест против авторитарного режима вообще. Для того, чтобы знать всю правду о Сталине, Троцком, Каменеве, Зиновьеве, Маленкове, Хрущеве, надо опубликовать соответствующие архивные материалы. Иначе в обозримом будущем так и будет продолжаться: я люблю Сталина, а я ненавижу Сталина; Сталин — агент охранки, нет, он создатель первого в мире социалистического государства. Уже вышло несколько номеров «Известий ЦК КПСС». Без преувеличения это огромное событие в нашей общественной жизни. Издательства должны прямо-таки ринуться в открывшуюся брешь, расширить ее и получить право на обнародование архивов партии, МИДа, МВД и КГБ. Мне довелось побывать в Гуверовском центре США, где смог читать такие материалы по истории нашей партии, которые у нас днем с огнем не найдешь. До каких пор будет продолжаться эта закрытость? Общественности и издателям, в частности, надо добиваться исправления ненормального положения.

Нельзя обойти молчанием и эмигрантскую литературу, которую теперь чаще называют литературой русского зарубежья. Не надо доказывать, что ее долгое замалчивание у нас и даже гонение нанесли большой вред отечественной культуре. В то же время не следует впадать в крайности, думая, что это лучшая на сегодняшний день русская литература. Мы видим, как немало современных советских писателей создают очень неплохую прозу, поэзию, публицистику. Издавать русских писателей, по тем или иным причинам оказавшихся за рубежом, безусловно, надо, однако не следует при этом отказываться от художественных, нравственных и патриотических критериев.

Теперь подхожу к следующему вопросу — о новых критериях оценки книг. Какие работы выпускали еще пять лет назад? Те, что утверждали соответствующие инстанции. Мнение издательства и даже читателя никого не интересовало. Когда-то я написал биографию Макиавелли для серии «Жизнь замечательных людей». Издательство «Молодая гвардия» поддержало мою заявку. Но одному товарищу «из аппарата» пришла в голову мысль: как можно считать Макиавелли, сторонника тиранических режимов, замечательным человеком. Книгу отложили. Тогда ее выпустило издательство «Прогресс», но в переводе на итальянский язык. Пусть читают в Италии... Сенат этой страны и сенат США присудили ей золотую медаль. Я не хвастаюсь, просто привожу пример как известный мне факт времен застоя.

Давайте же полагаться на главный критерий оценки книги — вкус и мнение читателя. Другие критерии будут сугубо субъективными. Меня могут спросить: какого читателя? Да, отвечу я, все они разные — интеллигенты, полуинтеллигенты, просто (да простят мне тавтологию) простые читатели. И мы не можем всем им сказать, что, мол, Пикуль — это плохо. Его читают в сотнях тысяч экземпляров. Но не можем сказать: Пикуль — это прекрасно. Специалисты считают — он не всегда точен в описании исторических событий. Значит, надо придерживаться естественных критериев — как воспринимает книгу народ.

Митрополит
ПИТИРИМ,
председатель
Издательского отдела
Московской
патриархии, народный
депутат СССР

ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВУ



книга и перестройка
мнение священнослужителя

Книгоиздательское дело Русской православной церкви имеет источное начало для всей отечественной культуры. Наша скромная работа началась в тяжелых послевоенных условиях с выпуска очень маленького, отпечатанного на неважной бумаге журнала «Московская патриархия», а еще раньше, осенью 1943 года, с выхода церковного календаря. Но вот в 1945-м Собор Русской православной церкви вынес постановление о создании редакционно-издательского отдела Московской патриархии, который за последующие годы стал и маленьким научно-исследовательским институтом русской книжности, хотя, можно смело сказать, вполне серьезным издательским коллективом.

За прошедшее время, несмотря на известные сложности, мы создали свою издательскую стратегию. С помощью Госкомиздата СССР (ныне Госкомпечать СССР) и других наших коллег в миру нам удалось продвинуться в издательском деле до относительно высокого уровня. Но с нашей стороны это был поначалу, в основном, труд самоучек, студентов московских духовной академии и семинарии. Да и сам я не издатель, а всего-навсего богослов, изучающий древние русские рукописи.

Сделанное позволяет сегодня говорить уже профессиональным языком о нашей деятельности. Вначале, как я уже говорил, появились маленькие информационные издания. Широкая дорога по существу открылась в 1956 году, когда была нами издана первая после длительного перерыва Библия. Но вначале нам нужно было перевести на современную орфографию ее русские издания XIX века. А сейчас мы уже готовим седьмое, стереотипное издание

Вновь создавшиеся возможности контакта с зарубежными церковными и издательскими кругами позволили нам приобрести в 1988 году около одного миллиона экземпляров Библии. Но стыдно, очень стыдно ходить и просить с протянутой рукой, чтобы свою собственную русскую Библию получать из чужих рук...

Моя вполне реальная мечта, чтобы наши цветущие леса шумели и росли, а первоклассную бумагу давала бы гибнущая попусту древесина. Чтобы наша полиграфическая продукция не догоняла западную, нам до нее толку нет, а наша русская книга становилась золотой библиотекой Отечества. И еще моя хрустальная мечта, уже как народного депутата СССР — создать в Подмосковье полиграфкомбинат, который будет принимать заказы на Западе, но прежде всего работать для блага Родины.

Наша прямая задача состояла и состоит в том, чтобы обеспечить богослужебными книгами наши приходы. И к этому подходим с научных позиций. В нашем издательском коллективе есть специалисты, которые обследовали почти все книгохранилища страны, подняли забытые рукописи. Благодаря этому новые богослужебные книги, которыми пользуются в наших приходах, — результат большой исследовательской работы богословов и студентов, которые учились на ходу, как выбирать источники, находить лучшие варианты текстов и создавать на современном научном уровне то, что мы сегодня выпускаем

Отрадным для нас является установление прямых контактов с соотечественниками, которые, вопреки реформе патриарха Никона, сохранили древнюю традицию. Я имею в виду русских старообрядцев. Впервые более чем за триста лет мы создали книги по старым дореформенным образцам, которые являются вкладом в нашу отечественную книжность, продолжающим традиции книгоиздательства старой Руси.

Наши международные связи, а из 45 лет своей церковной работы я более половины из них связан с международной деятельностью, позволили нам установить прямые контакты с зарубежными книгоиздательскими фирмами, и с 1983 года вышло несколько очень хороших изданий, отпечатанных преимущественно на Западе. К сожалению, у нас в стране этого сделать не удалось...

Какие проблемы? Бумага, полиграфия и короткие руки. Но я думаю, что в условиях перестройки, тех творческих связей, которые у нас наметились с русской интеллигенцией, с Госкомпечатью СССР, мы сможем внести свой скромный вклад в возрождение Отечества.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Манипуляция цифрами, с помощью которой еще сравнительно недавно доказывалось, будто мы самый читающий народ в мире, сегодня вызывает более чем скептическое отношение — ведь как минимум два последних десятилетия жители ближних и дальних городов и весей в основной своей массе были лишены возможности составлять домашние библиотеки хотя бы в сотню-другую томов из тех, что всегда хочется иметь под рукой. В результате успело повзрослеть поколение, у которого как бы отняли книги — те, что учат мыслить, с чем даже близко не сравниться телевидению.

Нам говорят: около девяти книг издается в среднем на жителя страны ежегодно, а с учетом фондов библиотек приходится в три раза больше. Однако известно, как беззастенчиво рассуждают иные экономисты — раз в сумме на вкладах населения в сберегательных банках лежат миллиарды, то в среднем на каждого вкладчика приходятся тысячи. В среднем-то получается, но наступила пора заботиться о каждом конкретном человеке. А конкретный человек индивидуален, поэтому расклад «около девяти книг в среднем на жителя страны» мало о чем говорит.

Где же те книги, которые должны у всех стоять на книжных полках, но не стоят? Быть может, и они находятся где-то рядом с теми миллиардами рублей, которые так лихо делят на души?..

Давайте пристальнее всмотримся в судьбу среднего числа «средних книг», приходящихся на «среднего читателя». Большую часть этих «серединочков» покупают отнюдь не потому, что они очень хороши, а потому что не перевелись люди, без книг жизнь не мыслящие. Часть этих покупок после первого же прочтения либо превращается в макулатуру (продать «среднюю» книгу дело почти невозможное), либо идет в подарок («Дареному коню...»), либо, если переплет недурен, становится пятнышком интерьера. А вот книги для многоразового чтения, из которых-то и должны составляться личные библиотеки, в свободной продаже купить почти невозможно. Академик Д. С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» утешает: «Не так страшно, когда человек украшает книгами столовую, покупает книги по переплетам. Могут быть у таких людей сыновья, племянники, они подрастут, поймут, оценят». Но у скольких же отцов и матерей нет возможности не только украсить книгами столовую (если она еще есть), но даже единственный книжный шкаф в доме! Так что благодушие уважаемого академика преждевременно.

Пора бить тревогу — через несколько лет в активную жизнь будут входить дети, чьи родители только и знают, что Страшила — это персонаж мультика, а «Алиса в стране чудес» — пластинка с записями песен В. Высоцкого.

Чем это обернется и уже оборачивается? Можно согласиться с мнением тех, кто признает многолетнюю деятельность по отлучению молодежи от книги успешной. Ведь нетрудно заметить, как в среднем постарели покупатели книжных магазинов. Самые младшенькие из них скоро получат право ходить на вечера «Кому за тридцать». Это, наверное, и есть последние могикане некогда могучей читательской гвардии. Но не будем винить молодежь за неначитанность, ибо некнижное бытие сформировало у нее некнижное сознание. Как уж тут доказать, что книга — лучший друг и собеседник, если этого друга и собеседника рядом не было...

В ряде статей о проблемах книгоиздания приводятся цифры, свидетельствующие о росте его благополучия. Можно услышать и мысль о том, что если производить больше печатной продукции при меньших затратах, то будет возрастать и зарплата работников отрасли. Такой стимул действительно сегодняшний день нашей экономики, но для книгоиздания он устаревает на глазах. Для работы действительно по-новому надо усложнить принцип — платить только с реализованных книг, ибо лишь в проданных книгах заключен смысл деятельности отрасли. Книги, не проданные в течение двух-трех лет, надо считать браком, оплачивая его из издательского кармана.

Очень жаль, что в статьях о книжном деле обычно не находится места для цифр, отражающих динамику продажи, причем неплохо бы указать размер «золотого дна» — продажу книг библиотекам, которая покрывает многие огрехи издательской деятельности. А пока — повышение читательского спроса при понижении раскупаемости, резком подорожании книг.

Где же выход?

Известна аксиома торговли: у каждого товара — свои законы продажи. Невозможно продавать по почте, например, сложную электронную технику, если ее потом некому будет настроить. Идеальный товар для посылочной торговли — книга: малый вес и объем, устойчивость к ударам и тряске, равнодушие к «товарному соседству», любой срок хранения и реализации.

Исходя из этого, выношу на обсуждение план, который можно осуществить в пределах одной-двух пятилеток.

На первом этапе он имеет целью насытить рынок только книгами массового спроса. Для этого предлагается реорганизовать одно из издательств, например, «Художественную литературу», в торгово-издательское объединение, состоящее из собственно издательства, сети типографий и вновь образованного головного магазина «Художественная книга — почтой» с несколькими филиалами. По сути, этот магазин будет представлять из себя гибрид книготорговой базы, почтамта и отдела приема заявок индивидуальных покупателей.

Для того, чтобы идти вперед, порядочно бы сначала расплатиться с долгами — и объединение должно будет издать Сводный каталог художественной литературы, изданной центральными издательствами, скажем, с 1961 года; он включит в себя также книги, предполагаемые к изданию в очередном году. В дальнейшем будут выпускаться только каталоги следующего года. Все эти книги получат цифровой индекс: первые две цифры обозначат год издания, остальные — порядковый номер книги в году издания.

Придется выпустить и карточки-заявки — обычные почтовые открытки, в правом углу которых добавится еще одна сетка для цифр. В нее и будет вноситься индекс заявляемой книги. Впоследствии эта карточка с обратным адресом заказчика будет наклеиваться на бандероль с книгой, упрощая рассылочные операции.

Итак, выпускается каталог с карточками-заявками, читатели заполняют заявки на книги, карточки приходят в магазин, где происходит их обработка.

В январе очередного года, гласно, с освещением по телевидению и в печати проходит конкурс заявок, своего рода хит-парад, по результатам которого объявляется самая популярная книга года. Остальные располагаются в порядке уменьшения поданных за них голосов. В таком порядке и будут печататься книги, сразу же уходя к конкретным читателям. Исходя из размеров годового фонда бумаги, объединение «Художественная литература» будет определять число и названия книг, которые должны поступить к заказчикам.

Для собраний сочинений, поэтических сборников, двухтомников и однотомников избранного предлагается проводить отдельный хит-парад.

Вот вкратце схема реализации первого этапа предлагаемого плана. Думается, он хотя и не зальет бетоном все трещины, но намертво закроет хотя бы одну. Ощутимым его итогом будет восстановление полной социальной справедливости при распределении одного из товаров первейшей необходимости. Книгу, вошедшую в хит-парад, с равной гарантией сможет купить и крестьянин, и министр, житель столицы и арктического поселка. Книги будут заказываться без нервотрепки, без хождений по магазинам, что обычно отнимает уйму времени.

Наносится таким образом и ре-

шающий удар по спекулянтам, причем без помощи милиции — ведь трудно спекулировать тем, что доступно каждому. В течение трех-пяти лет резко сократятся возможности и книжной торговли с нагрузкой.

Закономерно теперь спросить: а какова будет роль других издательств при осуществлении предлагаемого плана?

Перенесение центра тяжести в удовлетворении массового спроса на одно издательство даст возможность остальным работать преимущественно на библиотеки, выпуская книги хотя и меньшими тиражами, но большим числом названий. Читатели будут знакомиться с этими книгами в читальных залах, а самые интересные из них смогут участвовать в книжных хит-парадах. Обязательно произойдет оживление деятельности библиотек и, быть может, следующее поколение удастся привлечь в читальные залы...

Пока было показано, как в системе «читатель — издатель» совместить интересы этих обеих сторон. Но основная роль в создании книг принадлежит все же писателям.

Как известно, сейчас идет децентрализация во всех сферах нашей деятельности, включая литературную жизнь. Но что будет, если мы проведем децентрализацию литературной жизни так же бестолково, как внедрили антиалкогольный закон, который, в общем, отвечал потребностям общества? Думается, если сплеча ликвидировать Союз писателей, то власть от «литературных генералов» в центре перейдет к «литературным майорам» на местах. Этого допускать нельзя.

Ныне прочно вошло в обиход словосочетание «местный писатель» и его иронический смысл стал ускользать. Как может быть, что писатель, например, омский, непонятен уральцам? «Прощание с Матерой» написал иркутский писатель, но так, что отозвалось по всей стране. «Царь-рыбу» сочинил красноярский писатель, а результат такой же. Необходимо дать возможность всем писателям из глубинки попробовать заявить о себе в полный голос. Но как? Посмотрим, можно ли ускорить движение рукописей от редакторского стола к печатному станку, заодно отделяя зерна от плевел. Для этого вспомним, как обстоит дело с рекламой в других областях искусства.

Художники получили в последнее время возможность демонстрировать свои картины прямо на улицах, предоставив каждому желающему возможность оценить уровень своего мастерства. К услугам чтецов, певцов и танцоров — кружки художественной самодеятельности, в которых они могут выяснить свои способности с помощью зрителей и, по мере желания, сделать шаг к профессиональному творчеству. Киношники начинают рекламировать фильм, когда он еще находится в производстве — догадались показывать перед киносеансами пятиминутные рекламные ролики. А вот у писателей таких возможностей нет. Оставляя рукопись книги в издательстве, они не могут даже издалека наблюдать за процессом ее оценки, хотя критерии этой оценки весьма произвольны.

Договоримся считать писателем любого гражданина нашей страны, который написал литературное произведение и хочет продать его объединению «Художественная литература», то есть выпустить отдельной книгой. Разумеется, писатель волен печататься в любом издательстве, но наше объединение будет идти на издание произведения только при условии гарантированного сбыта, рынок которого оно обязуется изучить в самые сжатые сроки.

Для этого при объединении потребуется создать литературно-информационный альманах «Литературная нива». Он должен быть максимально дешевым по себестоимости — бумага самая простая, шрифт мелкий. Его тираж должен быть равен числу библиотек и книжных магазинов страны. Задача альманаха проста — фрагментарно ознакомить читателей с предполагаемыми к выпуску произведениями и выяснить, собираются ли они их купить. Вся новая продукция объединения будет издаваться только после пробной публикации в «Литературной ниве» и на основании точного подсчета потребности.

В редакции альманаха литературные достоинства представленных произведений будут определяться обычным путем, но для ускорения прохождения цепочки «писатель — издатель» предлагается без рассмотрения принимать к пробной публикации рукописи, снабженные рекомендацией редактора любого художественного журнала. Премии из фонда объединения для поощрения редакций, рекомендовавших книги, которые впоследствии станут победительницами хит-парадов, будут стимулировать поиск талантливых произведений по всей стране, заботу о писателях интересных, но малоизвестных, которые годами ждут очереди, оттираемые менее способными, но более энергичными собратьями по перу.

Все произведения, публикуемые в «Литературной ниве», получают индекс. Далее можно сделать так: для произведений, опубликованных в альманахе с 1-го января по 30-е июня очередного года, хит-парад устраивать в январе следующего года, а для произведений, опубликованных во второе полугодие очередного года, хит-парад проводить в июле следующего года и т. д. То есть издатели получат более полугода на подготовку книги к выпуску, если иметь в виду ежемесячное предварительное подведение итогов по заявкам.

Оценим емкость предлагаемого журнала. Примем за основу, что его объем будет равен объему обычного толстого журнала (около 200 страниц), и условимся, что для представления книги автору выделяется в среднем пять страниц. Тогда, при ежемесячном выходе, альманах сможет за год представлять до 500 произведений, что больше, чем сейчас предлагает издательство «Художественная литература» плюс все литературно-художественные журналы страны.

После начального информационного первовзрыва, в течение пяти-семи лет, система «издательство — магазин — журнал — писатель — читатель» придет в равновесие и станет самонастраивающейся и саморегулирующейся структурой. На падение качества предлагаемых произведений рынок немедленно ответит повышенным вниманием к авторам прошлых лет, тем самым стимулируя приток в литературу свежих творческих сил, которые, в свою очередь, дадут импульс литературе современности.

Реализация нашего проекта попутно даст ответ на полемический вопрос: «Сколько нам надо писателей?» Этот вопрос дебатировался на страницах «Литературной газеты», но ответа так и не было дано, потому что возможные ответы рассматривались преимущественно с позиций цифрового фетишизма: вот, дескать, определим правильную цифру, и все пойдет как по маслу! Некорректность самой постановки вопроса в том, что фиксированная цифра, безразлично, назначенная сверху или установленная голосованием снизу, приведет сразу или чуть позже к застою в литературной жизни. В реальном, непрерывно меняющемся обществе число писателей может и должно непрерывно меняться. Диалектический закон перехода количества в качество в творческой деятельности принимает неявную форму — могут несколько писателей подготовить за год ряд заметных публикаций, а могут несколько десятков писателей не подготовить ни одной...

Объединению «Художественная литература» будет не с кем бороться. Альманах предлагается сделать хозрасчетным, и желающим в нем опубликовать фрагмент из своего произведения придется вначале заплатить известную сумму. В крайнем случае удовлетворяется тщеславие и аттестуется результат труда. В конце концов, если графоман, пусть даже титулованный, не жалеет наши станки, бумагу и время, то почему мы должны жалеть его деньги?

Идею может победить только другая идея, более разумная, более справедливая. Автор ничего не имеет против, если у Госкомпечати есть другой способ насыщения книжного рынка наинужнейшими народу книгами в кратчайшие сроки. Если нет, давайте хотя бы в одном регионе реализуем предложенный проект!

МИХАИЛ ЛУКОВНИКОВ,
экономист

г. ТАШТАГОЛ

ТАТЬЯНА ОЧИРОВА

НАРОДНОСТЬ — НАЦИЯ — НАЦИОНАЛЬНОСТЬ



ОЧИРОВА Татьяна Норполовна. Окончила МГУ имени М. В. Ломоносова. Член СП СССР, научный сотрудник Института мировой литературы имени М. Горького АН СССР. Кандидат филологических наук. Автор книг и статей по проблемам советской многонациональной литературы.

Едва ли в практике мировой истории найдется другой такой случай, когда какие-нибудь несколько десятков лет оказали такое губительное воздействие на судьбы языков и национальных культур. Всесоюзная перепись 1926 г. зарегистрировала 194 народности. Далее, по данным переписи, число национальностей убывает со скоростью катастрофической: по переписи 1939 г. их 99, перепись 1959 г. насчитывает их 109, перепись 1970 г. — 106, перепись 1979 г. учла 101 народность. В 80-е годы преподавание ведется лишь на 39 языках.

В истории мировой цивилизации не было аналога масштабам этой национальной эрозии. За пятьдесят три года «невиданного расцвета наций и народностей» исчезла добрая половина этих народностей! Данные 1926 г. насчитывают 57 национальных и 75 этнических групп. Данные 1979 г. — 35 национальных и 17 этнических групп. Резко сократился и численный состав внутри отдельных наций и народностей. На одну треть уменьшился сегодня численный состав русского народа. В 1926 г. юкагиров, жителей Крайнего Севера, представителей древнейшей палеазиатской группы языков, насчитывалось около 2 тыс. человек. Сегодня их осталось 800, из них родной язык знают 100 человек. Все годы проведения в жизнь «ленинской мудрой национальной политики» дети юкагиров обучались в школах на русском или якутском языках, лишь недавно вышел в свет первый юкагирский букварь тиражом 100 экземпляров, причем бóльшая половина тиража остается пока что без применения.

Разрушение национальностей отражено и закреплено даже в справочных изданиях. Так, в Большой Советской Энциклопедии (М., 1954) статья «Национальность» отсутствует вообще. Да и сегодня многие настаивают на упразднении во всех документах самой этой графы: «национальность». Усиленно пропагандируется еще один любопытный тезис. Так, на состоявшейся в июне 1989 года научной конференции по проблемам национальных отношений и в ряде выступлений по радио директор Института этнографии академик Ю. В. Бромлей, заместитель директора института доктор исторических наук Л. М. Дробишева настаивают на необходимости свободного выбора национальности, свободного перехода из одной национальности в другую. Но если, скажем, якут, по собственному усмотрению, вопреки сложившимся традициям жизни народа, назовет себя грузином, не будет ли такой этнический волюнтаризм сродни пресловутому проекту поворота северных рек?

Наибольший процент исчезновения этнических групп приходится на период между 1926 и 1939 годами — то есть период установления советской власти в национальных окраинах (уже к 1920 году три года гражданской войны оставили в ряде областей Туркестана менее 45% населения), период коллективизации и «больших репрессий», главной статьей которых в республиках было обвинение в «буржуазном национализме». Темпы исчезновения этнических групп усиливаются также в последние 20 лет, когда при определении национальности перестал приниматься во внимание национальный язык, который в эти годы усиленно вымывается из сферы национальной жизни.

Проследим в качестве примера судьбы языков народов Севера, которые на протяжении многих лет были главным козырем, иллюстрирующим успехи культурной революции. «Развитие литератур самых малочисленных народностей Севера, развитие стремительное, опрокинувшее все прежние представления о сроках созревания национальных литератур, превзошло даже самые оптимистичные прогнозы передовых мыслителей прошлого. В истории человеческой культуры не было примеров, когда совершенно бесписьменные и поголовно неграмотные народы всего лишь за несколько десятилетий приобщились к процессу создания литературных ценностей. Становление их — факт, мыслимый только в

полемические заметки

условиях теснейшего взаимодействия национальных отрядов в строительстве единой советской литературы» (Б. Л. Комановский. Пути развития литератур народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. 1977).

Однако этот ликующий социальный оптимизм «победного шествия национальных отрядов» (ох, уж эта лексика гражданской войны) в общем строю единой общесоветской культуры прежде всего искажает исторические факты создания письменности. Вот данные деятельности миссионерских школ на Крайнем Севере. В 1840 г. в Москве выходит на алеутском языке «Евангелие от Матфея», переведенное священником И. Е. Вениаминовым-Поповым, а также сочиненное им на алеутском языке «Указание пути в царство божие», а в 1846 г. Петербургская академия наук издает его «Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка». В 1879 г. в Казани выходит составленная Н. П. Григоровским «Священная история на остяцко-самоедском языке», «Катехизис» и «Молитвослов» на эвенкийском и нанайском языках. В 1884 г. выходит «Гольдская азбука для обучения гольдских и гилякских детей» П. Протодиаконова, им же издается в 1901 г. «Гольдско-русский словарь». В 1898 г. И. Егоров публикует «Книгу для обучения детей читать и писать» для ханты и манси, а в 1900 г. он издает грамматику для ненцев. Особенно много делает для издания книг на языках малых народностей Севера Тобольское миссионерское общество. В «Тобольских епархиальных ведомостях» зафиксированы переводы «Нового завета» и других религиозных книг на целый ряд языков малых народностей Севера. Об издании этой церковной литературы для северных народов упоминает историк А. И. Пыпин в книге «Религиозные движения при Александре I» (П., 1906 г.). Однако просветительская деятельность русских и национальных священников-миссионеров не только была предана забвению, но и тенденциозно искажалась с позиций вульгарно-классового нигилизма: «Переводческую литературу на языках народов Севера создавали люди, которые имели весьма отдаленное отношение к языкознанию» (А. Г. Базанов, Н. Г. Казанский. Школа на Крайнем Севере». Л., 1939).

В 1922 г. создается «Полярный подотдел управления туземными племенами Севера» при отделе национальных меньшинств Наркомнаца (Народный комиссариат по делам национальностей — так звучит полностью этот почти оруэлловский новояз), а в 1924 г. организуется Комитет Севера при ВЦИК, действовавший до 1935 г. В состав его входили П. Г. Смидович, А. Е. Скачко, С. И. Мицкевич, Е. М. Ярославский, Ф. Я. Кон, А. В. Луначарский, А. С. Енукидзе, Л. Б. Красин, К. Я. Лукс и др. В этих двух органах на протяжении ряда лет вырабатывались важнейшие рекомендации и распоряжения в области социально-культурной политики по отношению к коренному населению края. Тогда же в Ленинграде был создан Институт народов Севера со своим печатным органом — газетой «Инсовец». Подобные уродливые аббревиатуры, которые ввело в обиход «самое образованное правительство», создавались, надо полагать, людьми, не в пример более сведущими в языкознании. Сталин и вовсе провозгласит себя главным специалистом в этой области.

В статьях «Задачи Наркомпроса на Крайнем Севере», «Народное образование в стране пролетарской диктатуры» (журнал «Северная Азия», 1927) Луначарский излагает магистральную политику в области национальных отношений, предполагающую максимальное сближение наций. Он подчеркивает, что Советская власть стремится к тому, «чтобы различия между национальностями постепенно стирались», и в качестве примера приводит практику культурного строительства среди ненцев, эвенков, чукчей, где первые образцы художественного творчества создаются на русском языке. Практика так называемого двуязычия, а точнее русскоязычия укоренилась прочно. На русском языке пишут свои произведения почти все писатели Севера — нивх В. Санги, удэгеец Н. Дункай, ульч А. Вальдю, нанаец Г. Ходжер, ненец А. Пичков, манси А. Тарханов, коряк Г. Поротов, чукча Ю. Рытхэу и другие.

В 1932 г. на конференции по развитию языков и письменности народов Севера был утвержден проект создания литературных языков. В директивный список языков, подлежащих письменной фиксации, вошли 14 языков. Всего малых народностей Севера и Дальнего Востока насчитывается свыше 30. В отношении ительменского и алеутского языков, на которые почти столетие назад было переведено евангелие и создана грамматика, констатировалась лишь необходимость создания литературного языка в будущем. Для энцев, нганасан, негидальцев, юкагиров, долган, ульчей и других, ввиду их крайней малочисленности (напомним, однако, что юкагиров в 1926 г. насчитывалось 2 тыс.), создавать национальную письменность не предполагалось. Однако даже языки, упомянутые в решении конференции 1932 года, в дальнейшем не получают развития. На кетском и ительменском языках издание букварей и обучение прекращается уже спустя два года после этой исторической конференции. В 1934 г. совещание Комитета нового алфавита народов Севера в Москве отметило, что дети кетов и ительменов уже владеют русской речью, так что необходимость их в родном языке отпала. Эскимосы, получившие письменность на латинской графике, в 1937 г. переводятся на русскую графику, а вскоре обучение эскимосов родному языку прекращается вовсе, якобы из-за того, что науканские экскимосы плохо понимают чаплинский диалект. Различия между диалектами становятся поводом для прекращения преподавания и на других языках: «В корякском языке различия по диалектам оказались настолько глубокими, что затормозили распространение письменности на родном языке. Письменность оказалась полезной (!) лишь для тех групп коряков, на диалектах которых базировались авторы букварей» (И. С. Гурвич, К. Г. Кузаков. Корякский национальный округ. М., 1960). В 1953 г. окружные организации переводят преподавание в корякских школах на русский язык. На русский язык переводятся также удэгейцы, ительмены, свами, селькупы и другие народности, имевшие в 30-е годы свою письменность. Всесоюзная конференция «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху» (1962) так комментирует эти факты:

«В 20—30-х годах были достигнуты следующие результаты: завершены работы по созданию письменности для ранее бесписьменных народов; использованы родные литературные языки в развитии национальных культур, в изучении русского языка. Вместе с тем в этот период были допущены серьезные ошибки: попытки создания письменности на родном языке очень малочисленным народам вопреки их желанию, например, некоторым народам Крайнего Севера, отдельным тюркским, финно-угорским, иранским, кавказским народностям, которые впоследствии решительно отказались от письменности на родных языках и стали пользоваться русским и другими литературными языками крупных народов». (Тезисы докладов конференции.) Любопытно, как к «малочисленным и бесписьменным народам» причисляются тюркские (вторая по численности после славянской языковая группа, насчитывающая тысячелетнюю культуру ислама) и иранские народы (таджики, узбеки, народы, насчитывающие десять веков письменной литературы).

Советские обществоведы так формулируют основной постулат в области национальных языковых и культурных отношений: «Объективным и закономерным явлением необходимо считать языковое сближение, состоящее как в овладении языком другого народа, так и в переходе на иной язык. В результате осуществления ленинской национальной политики и достижения фактического равенства всех народов СССР процесс их сближения потерял свои антагонистические черты». (В. К. Гарданов, Б. О. Долгих, Г. А. Жданко. Основные направления этнических процессов у народов СССР. — «Сов. этнография», 1961, № 4). Но разве равенство народов означает замену одного языка другим — дескать, все равно, какая разница? И о каком «фактическом равенстве» можно говорить, если языки одних народов насильственно изымаются из сферы бытования

и заменяются другими? Язык, с которым связано этническое самоопределение народа, характер его мышления, этнопсихический тип, специфика образной структуры, то есть все, что называется «душой народа», становится некоей условной единицей, выражающей социальную функцию: «У народностей, имеющих письменность на своем родном языке, функционируют два языка — так называемый национальный язык и русский» (О. П. Суник. О языковом развитии в условиях двуязычия. М.-Л., 1966).

Советские лингвисты впервые всесторонне обосновывают лингвосоциальный подход к изучению национальных языков СССР, основанный прежде всего на выявлении общественных функций языка. Суть его заключается в том, что за родными языками наций и народностей закрепляется бытовая функция и они развиваются преимущественно как бытовые, служа средством общения в быту, то есть исключительно в устной форме, а не в системе письменного его бытования. «Русский язык, — писал член-корреспондент АН СССР В. А. Аврорин, одним из первых применивший лингвосоциальный подход к национальным языкам, — вступает с ними во взаимодействие и принимает на себя некоторые из весьма важнейших функций. Означает ли это, что родные языки народов Сибири уже исчерпали свои возможности и становятся ненужными для их носителей? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя», — утверждает он, связывая принципы лингвосоциального подхода с установлением сроков отмирания тех или иных языков.

Но ведь язык это не просто «социальная функция», существование и наличие языка — главное условие сохранения национальной культуры. Любой язык сам по себе является уникальным феноменом мировой культуры. Языки даже самых малых народностей, а это, как правило, древнейшие языки, дают бесценную информацию об истории человеческой культуры. Замкнутый в бытовые рамки, изъятый из основных сфер жизни, язык неизбежно обречен на вырождение и вымирание. Лингвосоциальный подход в изучении национальных языков, разработанный советскими учеными, стал по сути теоретической базой искусственного форсирования ассимиляционных процессов.

В числе таких упраздненных языков оказались не только языки малых этнических групп, но и языки довольно многочисленных, по нескольку десятков тысяч и более, народностей. Одна из таких — латгальцы, проживающие на территории юго-восточной части Латвийской ССР, граничащей с Псковской областью и Белоруссией. Первые документы на латгальском языке датируются XVI веком, первые печатные издания известны с 1753 г. До революции в Петербурге, Двинске, Резекне выходило немало латгальских газет и журналов, в том числе и большевистских. В 20—30-е годы в Латвии насчитывалось около 400 тыс. латгальцев, 20 тыс. проживало на территории РСФСР, на латгальском языке издавалась художественная и общественная литература, учебники, выходила газета «Тайснейба» («Правда»). В 1937 г. все публикации на латгальском прекращаются, официальное существование языка закончилось. Сегодня он низведен до бытового, официально исчез и этноним, в паспортах бывших латгальцев пишется «латыш», хотя языковая близость его латышскому примерно такая же, как между русским и белорусским. Латгальский язык — уникальное культурное явление прибалтийских народов, он сохранил свои древние связи с литовским языком и не подвергнулся такой сильной ассимиляции немецким, как латышский. Несмотря на то, что он уже более сорока лет не звучит с официальных трибун, не преподается в школе, полноценный латгальский язык еще можно услышать в костелах. Даже если ксендз не латгалец, а поляк, в семинарии ему преподают латгальский язык.

Или возьмем ягнобский язык, который также может быть занесен теперь в «Красную книгу» исчезающих видов. Ягнобцы — жители центрального Таджикистана, живущие в труднодоступных долинах Фанских гор. Их язык — живой остаток древнейшего согдийского языка, некогда господствовавшего в Средней Азии в течение нескольких веков. В 1950 г. ягнобцев насчитывалось около 2 тыс. Окончательное исчезновение языка произошло в результате насильственного переселения народа в связи с освоением новых площадей под хлопок. Переселение за сотни километров, принцип, именуемый ныне модным словом «ротация», повлекло за собой нарушение привычных условий жизни, разрушение территориальной общности народа. Ныне ягнобцы полностью ассимилировались среди других народностей. Существование языка практически закончилось, а с ним ушла древнейшая и некогда богатейшая согдийская культура, оставившая живопись, скульптуру, литературу, города. До нас дошли переводы на согдийский язык буддийских, христианских, манихейских сочинений, понять которые во многом удалось лишь при помощи живого ягнобского языка. Согдийский язык был хорошо известен на караванных путях Центрального Востока и Средней Азии, где он служил языком межэтнического общения. Сегодня мировая научная общественность, кстати сказать, проявляет пристальное внимание и интерес к маршрутам древних караванных путей — международная экспедиция ЮНЕСКО «Великий шелковый путь — путь диалога», экспедиции ученых среднеазиатских республик по древним караванным маршрутам — все это лишний раз говорит об огромной исторической ценности утраченного, ныне мертвого ягнобского языка. Сколько бы еще мог он поведать миру, если бы сохранились сегодня живые носители этого языка?

Исчезают не только языки, исчезают целые автономно-территориальные национальные области. Сегодня представители Горно-Бадахшанской автономной области (по данным 1926 г. 40 тыс.), имевшие представителей в Совете Национальностей Верховного Совета СССР, в статистических данных и паспортах числятся как таджики. Это ваханцы, ишкашимцы, рушанцы, язгулемцы и другие представители памирской группы языков, отличающейся от таджикского более, чем русский от латышского. За годы советской власти выросло не одно поколение памирцев без собственных печатных изданий.

Ассимиляционные процессы, стремительно идущие у нас и сопровождающие «практику социалистического культурного строительства», процессы, распыляющие десятки наций и народностей, в результате которых древнейшие, уникальнейшие языки становятся мертвыми, так как исчезают их носители, эти процессы, разрушительные для наций, их языков, их культур, не вызывают однако ни малейшего опасения и беспокойства у нашей академической науки. Напротив, она с большим одобрением констатирует «уменьшение этнической мозаичности нашей страны». (Современные этнические процессы. М., 1977). Вопросы «сугубо этнического порядка» объявляются принадлежностью «некоторых отсталых групп населения» («Коммунист», 1987, № 4). Впрочем, идеи о социальной неполноценности отдельных групп населения не новы в общественной практике XX столетия.

В 1918 году Международное Бюро Пролеткульта, во главе которого стоит Луначарский, провозглашает: «Знамя буржуазной культуры — национализм, пролетариат должен противопоставить ему свое евангелие — интернационализм». Пролеткульт объявляет войну традиционной культуре прошлого и насаждает вместо нее казарменно-унифицированный культуротип, предусматривающий полное преобразование старой культуры и на очищенном от «пережитков прошлого» месте — торжество механизированной стандартизированной культуры безликой «массы», «чуждой персональности». (Пролетарская культура, 1919, №№ 9—10).

Тезис о «формировании будущей единой общечеловеческой культуры коммунистического общества» последовательно включался в программы партийных съездов. «Социалистическая культура, глубоко интернациональная по своему духу и характеру, представляет собой органичный сплав создаваемых всеми народами ду-

ховных ценностей». (Л. И. Брежнев. О 50-летии СССР. М., 1972).

«Сплавленные» таким путем национальные культуры народов нашей страны испытывались на выживаемость великим множеством теорий о путях и закономерностях развития национальных отношений в период построения «самого гуманного общественного строя». Это и всевозможные «стирания граней»: между нациями и народностями, между физическим и умственным трудом, между городом и деревней, между классами и прослойками и т. д. Это и всевозможные «выравнивания уровней» — социально-экономического, культурного и прочего развития, призванные служить делу консолидации и сближения наций в условиях социализма, в результате которых «оцивилизованные» малые народы Севера имеют сегодня нефтяные вышки на месте своих исконных охотничьих угодий и язык «межнационального общения» взамен родного.

Собственно, вся «теоретическая» подоплека всех выстраиваемых советскими обществоведами «закономерностей» предельно проста: слияние наций и их движение к возможно большей социальной однородности общества, к его предельной унификации. Немудрено, что именно этнос, нация с их неповторимым своеобразием языка, культуры, обычаев, обрядов, привычек, наконец, среды обитания становится главным тормозом на путях всеобщей унификации, формулируемой теоретиками как «консолидация социалистических наций на основе экономического, социального и культурного сближения народностей в условиях единого народохозяйственного плана». (Социализм и нации. М., 1975). «Источник социалистического прогресса, — провозглашает капитальный труд, подготовленный Институтом марксизма-ленинизма «Социализм: проблемы теории и практики развития национальных отношений» (М., 1984), — неуклонное сближение наций. Основой развития социалистического мира был и остается рабочий класс, а не нация».

Теория «социалистической нации», созданная советскими обществоведами, представляет собой «научное обоснование всего нового, что привносит в национальную жизнь социализм, а именно: формы преобразования старых наций в новые (Любопытно, как будут называться эти новые подвиды? Впрочем, одна, общая для всех униформа уже изобретена: «новая историческая общность», главный теоретический постулат эпохи застоя. — Т. О.) и формирование их заново на базе отдельных народностей в одну нацию». Чем не бухаринский тезис о переделке «старого человеческого материала» в новый?

Советская этнографическая литература создала не только новую методологию исследования этноса — типологизация этнических процессов (говоря неакадемическим языком, «обобществление»), но и коренным образом преобразовала и самый предмет исследования. Директор Института этнографии академик Ю. В. Бромлей много сил отдал теоретическому обоснованию «изменения представлений о предметной области исследований». По его мнению, «формирование предметной области науки — исторически непрерывный процесс, вызываемый общественными потребностями». (Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М., 1973). Предметом научного исследования выступает, следовательно, не специфика научной дисциплины, не реальный опыт науки, не, наконец, научная традиция — не может же в самом деле, скажем, филология изменить в соответствии с общественными потребностями свой предмет исследования и стать, допустим, физикой. Однако глава советской этнографической школы, почти как сотрудники оруэлловского департамента Правды по переписыванию заново истории, фактов и всего, что можно переписать, убежден, что «процесс изменения представлений о предметной области прослеживается в любой отрасли научных знаний. Особенно показательна здесь этнография».

Как же меняется предмет этнографии как науки? Институт этнографии АН СССР носит имя Н. Н. Миклухо-Маклая, выдающегося русского ученого-гуманиста, посвятившего всю свою жизнь изучению жизни и быта малоизвестных народов и поставившего мир перед фактом непреходящего ценностного значения любых, в том числе и самых архаичных, форм культуры. Много сделало для развития этнографии Императорское Русское Географическое общество, собравшее огромный этнографический материал о жизни и быте народов нашей страны. Однако в процессе становления советской этнографической науки «традиционный предмет этнографической научной дисциплины» стал расцениваться как «тенденция ограничить задачи этнографии лишь изучением архаических пережиточных явлений». (Ю. Бромлей. К типологизации этнических процессов. — Проблемы типологии в этнографии. М., 1979.) Советские ученые обосновывают этнографию как некую супердисциплину, призванную изучать прежде всего социальные аспекты жизни общества. Подход к этносам исходит из понимания их как явления прежде всего динамического: «К этническим относятся только те процессы, которые ведут в конечном счете к изменению этнической (национальной) принадлежности людей. На протяжении своего существования каждый этнос практически перманентно подвергается эволюционным изменениям». (Там же.)

Осуществление «перманентной революции» в области этносов и их культур привело к тому, что в советской этнографической литературе, в особенности в литературе последних двадцати лет, этнические культуры практически не изучались. Академическая наука не проявляет ни малейшего желания зафиксировать для той же науки, наконец, исчезающие этносы, их язык, быт, изводя миллионы тонн бумаги на обоснование всякого рода «национальных закономерностей», обосновывающих искусственное форсирование процессов ассимиляции и языков и этносов. Советская этнографическая наука изучает преимущественно одну проблему: «этнические процессы объединительного характера», предлагая следующую типологию этих процессов — «консолидацию, ассимиляцию и интеграцию». (Там же.) Ассимиляция, то есть исчезновение наций, выступает как прогрессивный объединительный процесс!

Рассматривая типы человеческих общностей и место этноса в их ряду, Ю. Бромлей отводит этносу весьма второстепенную роль. Вчитываясь в «типологию человеческих общностей», созданных академиком на основе «системно-логического анализа», мы никак не можем добраться до самого этого слова — «этнос», добрый десяток страниц испещрен словами: «типы», «подтипы», «общество», «социальный организм», «общественно-экономическая формация» и даже «макротипологизация таких систем».

Может быть, под понятие «пространственно-временной континиум» подпадут, наконец, понятия «народ», «нация», «этнос»? Все же они являются некоей пространственно-временной (культурная, языковая, историческая целостность, складывающаяся единая территория обитания) общностью? Отнюдь. По мнению Ю. Бромлея, «не бесспорно и предложение употреблять термин «страна». Явно доминирующая в нем роль пространственно-территориального значения делает этот термин, на наш взгляд, малопригодным для обозначения единиц самостоятельного социального развития. К тому же он довольно неопределенен». Любопытно, в каком же значении употреблялся «пространственно-территориальный» термин «земля», обозначавший исторически сложившуюся «социальную единицу» — русский народ в таком, весьма определенном, напряженно звучащем рефрене «Слова о полку Игореве»: «О, Русская земля! Ты уже за холмом!» А многочисленные «сторона, моя сторонушка», где речь идет об очень конкретных понятиях, из народных песен, стало быть, тоже «довольно неопределенны»? Б. Ф. Поршнев вообще задается вопросом, который выносит в заголовок своей статьи: «Мыслима ли история одной страны?» (Сб. Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1966). Не знаю, как у Поршнева, но в русской географической науке, как, впрочем, и в науке мировой, до сих пор существовала специальная научная дисциплина: страноведческая география — описание страны, ее земель, народов, населяющих ее. Однако сомнение в правомочности такого предмета исследования целиком разделяется и Ю. Бромлеем, который ссылается в качестве доказа-

тельств на лингвистику: «В русском языке, например, слово «народ» иногда теряет этнический смысл и означает «трудящиеся массы» или просто группу людей». Ну, допустим, если сей ученый настойчиво употребляет вместо слова «народ» «трудящиеся массы», это еще не означает, что такого слова в русском языке не существует. Подобное засорение русского языка обезличенным бюрократическим словотворчеством, схоластической абстрактной лексикой в свое время уже стало предметом художественного исследования Андрея Платонова.

Та же позиция всяческого завуалирования в отношении национальной государственности. Термин «страна», по мнению Ю. Бромлея, потому так неопределенен, что «его иногда характеризуют как завуалированный синоним государства». А собственно говоря, как же иначе? Н. М. Карамзин писал не просто историю, но «Историю Государства Российского». Да и само понятие нации неотделимо от понятия национальной государственности, то есть территориального, социального, экономического, культурного суверенитета нации. Но у ведущего этнографа страны по отношению к слову «государство» такая же боязнь, как по отношению к слову «этнос», а система доказательств строится с целью убедить, что национальная государственность, как территориально-этническая целостность, имеет «исторически ограниченный» характер, следовательно, подлежит перманентному изменению...

Но вот, наконец, в ряду «иерархий организменного уровня» появляется и искомое слово «этнос»: «Особое место во всей этой чрезвычайно сложной иерархии человеческих объединений занимают общности, именуемые в специальной научной литературе этносами». Слово «этнос» в значении «род, племя» было известно как обиходно-бытовое еще с античных времен, в значении «люди» употребляется в библии, латинизированное прилагательное ethnicus (этнический) становится термином, широко используемым в экклезиастических текстах, в качестве собственного обозначения нации, народности — «этноним» — вошло во все толковые словари, а для ведущего специалиста в области этнографии это всего лишь специальный термин узкотехнической литературы! Впрочем, такое умолчание можно понять, если по отношению к народу осуществлялась политика геноцида...

Применяя все же термин, принятый во всем мире, хотя и стремясь заменить традиционное название «этнос» новоязом («В нашей философской литературе в этих целях применяется такое родовое понятие как историческая общность.»), академик Бромлей ратует за «целесообразность специальной этнической номенклатуры» (!). Трактовка этноса предполагает у него «существование этнических общностей разных таксономических уровней и порядков, можно выделять таксономические уровни более высокого и более низкого порядка. К одному уровню относятся, например, донские казаки, к другому уровню — русские, к третьему — восточные славяне, к четвертому — славяне вообще. При этом одна и та же совокупность людей может одновременно входить в состав нескольких этнических общностей разного таксономического уровня, в результате чего создается своеобразная иерархия».

Ну, во-первых, донские казаки уже не могут входить даже в «низшую» по ценностной академической шкале иерархию по той причине, что к ним был применен открытый геноцид расказачивания, искоренения всего сословия под корень. Во-вторых, само это деление на высшие и низшие иерархии предполагает слияние низших уровней в высшие, в некую высшую общность, то есть все в ту же единую социалистическую нацию и новую историческую общность. «Непременным предварительным условием введения в научный обиход самого понятия «этнос» является, — утверждает Ю. Бромлей, — выяснение того типического, что позволяет объединить под одним названием все указанные разновидности общностей. Гораздо более важным представляется употребление данного термина в качестве своего рода эквивалента слову «народ» или, точнее говоря, для общего наименования таких образований, как «племя», «народность», «национальность», «нация».

Однако пребывание термина «этнос» в «предварилке» Ю. Бромлея унифицирует такие разные понятия как «народ» и «племя», «народность», «нация», «национальность», каждое из которых имеет свой конкретный смысл. Если зарубежная этнография строго разграничивает этнические общности, вплоть до территориальных различий внутри одного этноса (констатируется, например, что северные итальянцы выше ростом, менее темноволосы и темноглазы, чем южные, норманцы отличны от овернцев, бретонцев, гасконцев, в Андалузии и Арагоне и разные костюмы и разные танцы, выражающие многообразие граней эмоционально-психического склада национального характера), то в трудах советских этнографов специально отмечается, что «большинство народов мира имеют сравнительно однородный расовый состав». Насколько это псевдонаучно даже с точки зрения антропологии, упраздняемой, следуя этому постулату, в качестве науки, нет даже необходимости говорить.

«Системно-логический анализ» Ю. Бромлея с большим раздражением обрушивается на другое определение этноса, принадлежащее замечательному русскому ученому С. М. Широкогорову (1887—1939), согласно которому «этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающее комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от других». (С. М. Широкогоров. Этнос. Шанхай, 1923). Исчерпывающая точность и логическая конкретность этого определения мало что общего имеют с запутанной схоластикой «иерархии организменных уровней». Не потому ли оно вызывает у Ю. Бромлея такое резкое неприятие: «Однако такое понимание этноса у С. М. Широкогорова удивительным образом сочетается с причислением этой общности к биологическим. Впрочем, подобные представления довольно живучи», — желчно замечает он, обрушиваясь попутно с критикой концепции Л. Н. Гумилева об этносе. Живуч и дух знаменитой сессии ВАСХНИЛ, на которой были разгромлены основы генетики, замененные социальной «генной инженерией» лысенковщины.

Введение в мировой научный обиход термина «этнос» связано именно с русской наукой и прежде всего с именем С. М. Широкогорова. В курсе лекций, прочитанных им еще в 20-х годах в Дальневосточном университете, он всесторонне разрабатывает основные признаки и особенности этноса. Вслед за университетским курсом выходят в свет две его монографии — «Место этнографии среди других наук и классификация этносов» (Владивосток, 1922) и «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений» (Шанхай, 1923). В 1935 г. его книга о тунгусах, излагающая его основные представления об этносе, вышла в Лондоне (*S. M. Shirokogoroff. Psychometal Complex of the Mungus. London, 1935*) и сразу же стала известна широкой мировой научной общественности, получив высокую оценку. В советской же науке его взгляды не только не получили развития, но и самым определенным образом замалчивались, а в 1939 г. он был репрессирован.

Судьбы Широкогорова, Вавилова, Чаянова, Карсавина, Лосского и многих других — мрачное и трагическое пятно нашей новейшей истории, когда были разрушены традиции отечественной науки и в ней надолго воцарилась средневековая схоластика и казуистика, начетничество и демагогическое цитатничество. Сегодня многое из преданного забвению отечественного культурного наследия возвращается к нам. Пристальное внимание к многочисленным народам, населяющим просторы Российской державы, издавна, еще со времен Спафария и Иакинфа Бичурина, Лепехина и Гмелина, было традицией русской науки. Вырабатывая новые принципы межнациональных отношений, мы не должны забывать давнюю и простую истину о том, что новое — это хорошо забытое старое. Нынешняя перестройка должна стать не очередной переделкой, не «ротацией», но ВОЗРОЖДЕНИЕМ утраченных научных, духовных и культурных национальных традиций.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

Александр Пушкин

Публикуемая здесь статья выдающегося писателя, критика и публициста Василия Васильевича Розанова (1856—1919) «Еще о смерти Пушкина» впервые была иапечатана в издававшемся С. П. Дягилевым художественном журнале «Мир искусства» (1900, № 7. С. 133—143). Ни в один из подготовленных самим Розановым сборников его статей она не вошла и в настоящее время прочно забыта. Показательно, что в сопроводительной статье и комментариях к недавно помещенной в журнале «Литературная учеба» (1988, № 1. С. 102—120) подборке розановских эссе о Пушкине «Еще о смерти Пушкина» даже ие упомянуто.

Между тем статья более чем заслуживает внимания современного читателя, который найдет в ней не только яркий образец субъективно-художественной критики Розанова, но и смелый, неординарный подход к остро дебатирующейся и в наши дни теме. В «Мире искусства» она появилась в ходе бурного обсуждения на страницах журнала вопроса о причинах гибели Пушкина. Начало очередному витку в несмолкавших с момента гибели поэта спорах положили, безусловно, так называемые «Записки А. О. Смирновой» (Ч. 1—2. СПб., 1895). Этот взгляд был принят Д. С. Мережковским и отразился в его эссе «Пушкии», впервые опубликованном в составленном П. П. Перцовым сборнике «Философские течение русской поэзии» (СПб., 1896). Подход Мережковского к Пушкину вызвал резкие возражения со стороны Вл. С. Соловьева, который в статье «Судьба Пушкина» (1897) высказал парадоксальную мысль о том, что эта судьба была «доброю», так как при жизни поэт часто унижал свой гений «личной злобой и враждой», а Провидение Божие вело его «к наилучшей цели — духовному возрождению», пришедшему к нему перед смертью.

Среди множества критических откликов на эту статью Соловьева была и реплика Розанова «Христианство пассивно или активно?» (Розанов В. В. Религия и культура. СПб., 1899. С. 148—159), в которой он впервые высказался на тему гибели Пушкина. Оспаривая точность религиозно-этических критериев Вл. Соловьева, Розанов утверждал, что философ «существеино неправильно понял христианство, оценив «судьбу Пушкииа». Он осудил поэта за активность, и так строго, что даже присудил к смерти. 〈...〉 Пушкин защищал ближайшее отечество свое — свой кров, свою семью, жену свою; все это защищал в «чести» 〈...〉 Нисколько и ни в чем все это не противоречит активному христианству и тем «корням страстей», которых бытие в Богочеловеке утверждали соборы». Защищая в этой статье традиционный, восходящий еще к Лермонтову взгляд на гибель поэта, Розанов писал: «Человека гонят, травят в обществе и когда, загнанный домой, он оборачивается у порога — он видит, что преследователи не щадят

Фото ПАВЛА КРИВЦОВА



и его крова и следуют за ним по пятам. — Attendez, je me sens asser de force pour tirer mon coup!* — тут весь Пушкин в простоте и правде своего гнева».

В статье «Еще о смерти Пушкина» позиция Розанова уже существенно иная. Писатель мастерски защищает и развивает точку зрения, высказанную ранее известным критиком близкой к Розанову ориентации П. П. Перцовым в статье «Смерть Пушкина» (Мир искусства. 1899. № 21—22. С. 156—168). Непосредственным же поводом к написанию статьи «Еще о смерти Пушкина» для Розанова послужила публикация на страницах все того же «Мира искусства» «письма в редакцию», озаглавленного «Еще о судьбе Пушкина» и подписанного «Рцы» (псевдоним Ивана Федоровича Романова), в которой мнение Перцова было подвергнуто критике с ортодоксально-православных и отчасти демократических позиций. В примечании к этому «письму» сам Рцы прямо приглашал Розанова принять участие в этой полемике. «Да, и в браке, — писал он, — в устроении нашего семейного угла «свистун» Пушкин есть наш учитель, в непревосходимой универсальности своего духа уже наметивший (разумеется, эскизно), что может и в этой области дать самобытно развивающаяся русская культура. Предлагаем почтенному В. В. Розанову эту тему для размышления».

Розанов откликнулся на это предложение, однако высказал прямо противоположный взгляд на Пушкина — не как на учителя, но, напротив, как на неудачника в браке. История гибели поэта для Розанова в этой статье служит своего рода иллюстрацией его представления о «мистической» природе семьи и пола. Розанов не опровергает, а остается верен в ней даже некоторым явным преувеличениям и крайностям, допущенным Перцовым. Так, он соглашается с критиком в том, что Пушкин «был неправ 3-5 предсмертных лет, и... все произошло так, как должно было произойти». Правда, у него не найти высказываний вроде заявления Перцова о том, что в деле своей женитьбы он (Пушкин — С. К.) руководствовался только личным чувством, совершенно не заботясь о чувстве, (т. е. о личности) своей жены, что «он все же не поколебался пожертвовать ею для себя» и что его «сделала уязвимым» его «великая вина» перед женой. И все же названная тенденция в смягченном виде присутствует и у него.

Всякому, кто прочтет хотя бы пушкинские письма к жене, не так давно изданные в серии «Литературные памятники» отдельной книгой, станет очевидно, что эта тенденция огрубляет и упрощает отношения Пушкина с Н. Н. Гончаровой. Еще только предлагая ей руку и сердце, поэт действительно вполне сознавал, как он писал в письме к Н. И. Гончаровой от 5 апреля 1830 г., что в нем «нет ничего, чем бы» он «мог нравиться» ее дочери, и все же надежды его были связаны с тем, что «привычка и положительное сближение одно могло бы развить» ее привязанность к нему. П. П. Перцов исходит главным образом из этого противоречия, но оно вполне естественно: любящий надеется и тогда, когда надежда на взаимность не слишком велика. Трудно упрекать в пренебрежении к чувству невесты человека, настойчиво спрашивавшего в письме к будущей теще: «Не будет ли она смотреть на меня, как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли отвращение ко мне? бог свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть затем, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной в выборе завтра, эта мысль — ад». Перцов справедливо усматривает в этих пушкинских словах предсказание поэтом своей будущей судьбы. Но он забывает другие пушкинские слова: «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив» (письмо от 8 июня 1834 г.) — и не замечает того, что в течение шести лет, которые судьба отвела Пушкину для жизни с Н. Н. Гончаровой, поэт неустанно стремился сделать их брак тем самым «членом веры», тем самым «одним» вместо «двух», о котором с таким искренним трепетом и поклонением пишет Розанов.

Но пусть и он разделил некоторые заблуждения П. П. Перцова. Пусть он не совсем верно оценивает тон письма Пушкина к жене («заговорил несколько как мастеровой»), пусть явно преувеличивает, когда пишет: «Пушкин был решительно груб с Наташей» (может быть, бывал, но не был!), пусть тон его собственной статьи кажется иногда чересчур развязным, а наговариваемые воображаемые диалоги супругов произвольными. Все это искупается в розановском импрессионистическом полотне тонким психологическим шитьем, действительно приближающим нас в чем-то существенном к разгадке тайны: «Ну, ради Бога, объясните вы все, распинающие плоть: откуда взять этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его нет! — Просто нет! А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними...». Как выгодно отличается это розановское шитье от, например, слишком одностороннего суда Н. Н. Берберовой: «На «пламени», разделенном «поневоле», Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой пламень не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то «отдана». Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина, а уж он ли не знал ее! Татьяна Ларина жестоко отомстила ему...» (Курсив мой // Вопросы литературы. 1988, № 7. С. 247). Не говоря о вызывающей внутреннее сопротивление категоричности подобных высказываний, в этом холодном непрошеном суде есть какая-то неправда. И хочется опровергнуть его словами Розанова из публикуемой статьи: «ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и свята логика только «посмертных рассуждений», но и при-жизненных страстей логика может быть свята».

* *Подождите, у меня достаточно сил, чтобы сделать мой выстрел! (франц.).*

В. В. РОЗАНОВ

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

1.

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? Он ли тому причина, *окружающие* ли, *Провидение* ли, — об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде *факта* раскрывающегося зева «пожирательницы людей». И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. «Куда? Зачем?» — это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно — нужного: «постой!».

Когда литература лишается *двух* величайших гигантов своих *одним* способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. «Тут кто-то *шалит*», «это кому-то *надо*», «кто-то уносит у нас величайшие сокровища», и слова: «судьба», «немезида», «рок», эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратова перстня[1]; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует «драгоценных перстней». Ну, бросили один, — нет, мало. «Поганое место». Я хочу сказать, что когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год — другой, мы восклицаем: «поганое место», «нечистая тут сила». Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в *предметном* отношении, в отношении к *Пушкину* и его *смерти*) статье «Судьба Пушкина», г. Влад. Соловьев попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел: что это не «поганое место», где тонут мальчики, а «святое место», «место святого упокоения невинных детей».[2] В век, когда люди только *по книгам* помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают смешивать «черта» и «Бога». Человек погиб. Мальчик утонул. «*Кто* это?». «Это — Бог!». «Нет, это — *черт*». Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: «это — *нечистый* унес его», и все тут «поганo», «страшно», «неодолимо».

...Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различать со знатью.
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных;
Бесов вобще рисуют безобразных.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в № 21—22 «Мира Иск.» я прочел о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова. «Ну, — сказал я себе, — больше не буду думать о Пушкине. Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не *ангельским* и не *чертовым* взглядом на событие, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть *гениально умным* в объяснениях, не говорил себе: «ну, тут-то я и пофилософствую», — и нашел истинную фи-

лософию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как тень *добавления* около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к *тем* не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полунравственных, полуэстетических, полуфизических событий, словом, «дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции».

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору — нового. («Еще о судьбе Пушкина», г. Рцы. № 1—2 «Мира искусства», 1900 г.). В сущности, г. Рцы *сбивает* все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском упреке Пушкину:

И он погиб и взят могилой

. . . .

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он *руку дал* клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?

С этим объяснением совершенно совпадает центральные слова в статье г. Рцы: «Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. Ан, хочу! Ну, тогда больно будет. *Хочу Петербурга* (курс. автора). Ну, тогда тебе не избежать и *логики Петербурга* (опять его курс.), тогда судьба твоя роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени — Дантесами... Мы *сами себе* (его курс.) даем пощечины... И мы глубоко верим, что если бы Пушкин опомнился, понял невозможность *человечески* (его курс.) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей, — *наверное* (курс. его) спасся бы».

Тут есть немножко и соловьевского объяснения (поехал бы на Афон»)[3], и обыкновенного, даже самого либерального объяснения («надел ливрею»), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мещанское (да простит автор мне упрек этот): «он носил ливрею, когда ему нужно было петь «на седьмой глас»: «Господи, воззвах». Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьева), ни «воззвах» не стал бы и не хотел читать, — ибо не таково было настроение его души и правда его души и *факт* его души в *это время* грусти, смятения, гнева. О, господа, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и *свята* логика только «посмертных рассуждений», но и *при*-жизненных страстей логика может быть *свята*. Я верю, что Пушкин *вспыхнул* правдою — и погиб: что он был прав и свят в эти 3—5 предсмертных дней, когда

Восстал «во блеске власти»

— но он действительно, как объясняет г. Перцов, был неправ 3—5 посмертных лет, и... «все произошло так, как должно было произойти».

Я счастливый муж, любящий: у меня все исправно в дому. — За моей женой ухаживают. — Сделайте милость! Рассказывают об ее успехах:

Вот, братец мой, потеха!
Ей-ей умру,
Ей-ей умру,
Ей-ей умру от смеха.

В «Графе Нулине» Пушкин это отлично выразил в заключительных стихах:

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам! — Почему ж?
Муж? — Как не так. Совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.

Все это очень важно, все это очень на кого-то похоже; но самое важное и так сказать центральное — в последних двух строчках:

Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет!

Когда «муж» и «любовник» совпадают, тогда гомерический, чудесный гомерический хохот покрывает и Дантеса и Нулина, и «женихов» Пенелопы. «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся?!». Не совершенно ли очевидно, что суть пушкинской драмы заключалась... о, не в Наталье Николаевне, — а в том, что Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности, чтобы сказать с Улисом и Лидиным: «дом мой — твердыня моя: кого убоюся»!

Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически и даже метафизически мыслим*, если бы около нее не было «23-х летнего Лидина». А теперь *она* — крепость от Нулина и всякого, т. е. чистосердечие *ее* смеха с Лидиным (ведь не в одиночку же он смеялся) исключало со стороны последнего решительно всякое подозрение и подозрительность, и он никогда бы не забормотал, не заскрежетал:

Молокосос! и если так,
То графа я визжать заставлю!

Очень нужно! Очень нужно вызывать на дуэль. Почему же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший Нулина и Руслана, вещим, гениальным и *простым* умом он *почуял*, что если «ничего еще нет», то «психологически и метафизически уже возможно», уже настало время ему самому испить черную чашу и вместе весь непрерываемый и фатальный комизм Черномора ли, старушки ли Наины... о, ведь дело не в *летах* именно, а в седине и даже дряхлости опыта, хотя бы и в 35 лет:

Прошла моя, твоя весна,
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата,
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила,
За то, — прибавила болтунья, —
Открою тайну — я колдунья!

Точка в точку с великою и вещею мудростью поэта, с его универсальным умом, что для 16-ти лет может представиться «умом колдуна», весьма мало говорящим сердцу девушки. Ее *внимание* — совсем иное будет, чем его речи:

Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшной рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье:
«Так — сердце я теперь узнала.
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...
О, милый, милый, умираю...»

И что же ответил Финн, когда-то сам и *первый* полюбивший Наину, т. е. стоявший к ней в неизмеримо ближайшем, по возрасту и *главное по опыту*, расстоянии, чем поэт к своей невесте и потом жене:

Я трепетал, потупя взор!

Что делать — это *роковое*! А ведь вещун — Пушкин, колдун — Пушкин все видел, все знал, *«на три аршина под землею»* он видел не только в 35 лет, но и в 25, когда писал «Руслана» и «Нулина», и в последнем эти насмешливые строки:

Жена все мужу рассказала...
Всему соседству описала.
. . . .
Смеялся Лидин...

Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. Не было *совершенного чистосердечия* и «гомерического хохота» в ее рассказах Пушкину о Дантесе. Не тот смех, не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблекнут. — «Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его...» — «Ну, хорошо, уж поздно: доскажу завтра». Речи не договаривались, смех не *раскатывался;* так — улыбнется, *мертвенно* улыбнется. — «Да что ты, Наташа?»* — «Ничего, утомлена. Я рано встала». И вечно утомлена. — «Верна?» — «Конечно!» — «Довольна?» — «Довольна!» — «Счастлива?» — «Счастлива!» — «Не упрекаешь (меня)?» — «Но поговори же, но расскажи же: так ты этого молокососа...» — «Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать...».

Она совершенно нравственна или, пожалуй, «корректна» в отношении к детям и мужу, и... и... не распинайте же вы ее и не требуйте, чтобы она *вдруг* запела песенку над ребенком:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю...

Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено *все*. Она не согрешит. Но ведь вы требуете *святого*, как положительного, вы ищете небесной поволоки глаз, взамен мертвенной улыбки ожидаете воздушного смеха:

Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромный разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он. (Нулин, на другой день).
. . . .
Вдруг шум в передней...
«Наташа, здравствуй»
— «Ах, мой Боже!
Граф, вот мой муж!»

Ну, ради бога, объясните вы все, распинающие «плоть»: откуда взять этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет*! Просто — *нет*! А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, скучающего «общего ложа» и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро — общее; посуда — общая; пожалуй, интересы — общие, и, конечно, знакомые. Но *не* общий — *смех:*

...Потупя взор
И губки алые кусая...

Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его — вообще *отсутствует*. Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что... ничего-то, ничегохенько общего между ним и женой — нет, и что тут — не *ее* вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил), а уж если и есть чья-то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в *свой* путь, луну — в *свой* же другой, то еще вина — *его*, Пушкина, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, — «*вина*» Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома».

Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее назвать). Он мог гениально ее ценить, но создать и выжать из себя форм обращения и быта, бытия, «житья-бытья» с той, о которой он записал *первые, ранние* впечатления:

Все в ней — гармония...
Все — выше мира и страстей:
Она *покоится стыдливо*
В красе *торжественной* своей,
Она кругом себя взирает —
Ей нет соперниц, *нет подруг;*
Красавиц наших бледный круг
В *ее сияньи исчезает*.[4]
— он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.[5]

«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спаленки девушки, — увы, и *в замужестве девушки:*

Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!

Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, *умерла* девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты[6]

в девстве и *девственнице*, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:

Спи, дитя родное,
Баюшки-баю!

«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я хотела бы обитель:
. . . .
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одну картину я б хотела вечно видеть:
...Чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель,
Она — с величием, Он — с разумом в очах,
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона».[7]

Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, *практически к этому приуготовиться;* как он мог написать, но вот практически-то к этому приуготовиться и *не мог*! Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» — которого «не вернуть»! Пушкин в 16 лет написал — и с странным страстно-нежным тоном в заключительной строке — «Леду», — сюжет, который, ей-ей я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет![8] Таким образом, этот маленький «Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился, и дальше все «зрел» и «перегорал».

«Конечно, она не виновна. Но, виноват... мир, Бог, Дантес, Геккерн, «ибо я так чрезмерно страдаю», «так мне дурно»... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то *пустынный* фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молюсь — и не вижу «образа». Он не отвернулся, а просто поблек, *умер* в линиях, ушел куда-то внутрь».

Г. Рцы, приведя указанное выше письмо, пишет: «*Чудные* отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой *верный* тон, так гениально суметь избегнуть приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватую корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или *она* его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как *могли* любить друг друга Пушкины в браке, *оставайся только несчастный поэт в Москве*»[9] (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «Ромеовский», не есть «Ромеовский» *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы* бытия нашего, который и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоенною и счастливой; но с Пушкиным, в 17—22 года, не настал. Она имела *свой*

тон, *свои* струны «Ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в *нашем-то,* этаком решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо — вещун, он — вещий.

— «Я же верна тебе, — ну что же еще».

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы, или, пожалуй, из какого Евангелия, или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто *упрек* — этим слезам. «Я плачу, ну и только». «Ваша — и никуда не бегу». Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дантес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и *неисцелимо трудно.* Убить и даже... убивать, убивать; или умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II.

«В чем дело», пишет г. Рцы, Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* — какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастная московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника)[10], для бедной Наташи все были жребии равны. Еще равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова).[11] Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, не кстати подвернулся...»

Чудак. Он пишет: «этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженом, настоящем*, которого она проглядела, не дождалась».

Какое рассуждение; ну, и в самом деле, пусть жена «начала вздыхать»: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы «таинством», если бы он не был «членом веры». И вот, когда верующий, — о, не изменяет своему символу, но *вздыхает* как я, как может быть он, как Лютер в 22 года, о какой-то далекой, новой, возможной вере, в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет!? Нет, он этого не сделает. Но не то ли же самое и в таинстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в религии, в догматике, вздоха прервать *нельзя* и вздох прервать *преступно.* Да просто — нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то *всеобщий* страх у г. Рцы — суетен, неоснователен.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя

— это повторит тысяча мужей о своих «старухах», не променивая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я, — но также это скажет и тысяча жён. Пушкин — не «Мазепа», который «заклевал»... Вот именно Мазепа-то и не заклевал:

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лет;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это — Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и *старца строгий вид,*
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она — в объятиях злодея...

Не отпустил отец, сама ушла. Что делать — т а к! Так было спокон веков и так останется, пока «три кита» не вывернутся из-под земли; и, наконец, так Бог благословил. Но почему же *если* Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

...о, старец — *Море.*
. . . .
Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, *будто спит...*

Не правда ли, в стихах Лермонтова — будто психология Мазепы, в его притворных письмах к Петру. А вот, у него же, и в той же дивно краткой поэме, и эпизод с Марией Кочубей, во всех деталях:

— «Слушай, дядя, дар бесценный:
Я примчу тебе с волнами
Труп казачки молодой
С темно-бледными плечами
С светло-русою косой
. . . .
И старик, *во блеске власти,*
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный,
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.[12]

Тысяча романов в действительности — на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, *за 2—3 года до встречи с Пушкиным* (совершенное отрочество), легко могла бы сбежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но *никогда бы не сбежала к Пушкину.* Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, тряхнувший — да как! — Малороссией, и забурливший около своего имени Россию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкендорф — потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него освободиться. Вот уж *не* Каспий... Что же ему сравниваться с Мазепой *в линии данной темы.* Да он был для 16-летней Наташи Гончаровой тем «действительным статским советником», хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал, — к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии — *«Он»*... Ну, — Он, «Озирис», «Зевс»...

...Дух — известно, что такое дух;
Жизнь, сила, чувство, зрение, голос, слух.

По всему описанию видно («Полтава») и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась*-то она сама к нему и, пожалуй, действительно к Нему. Седой усач; поэт — но в *меру* (Пушкин — *без меры*); какие речи! какой взгляд! И — седина, седина; «ветхое деньми». Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем на Пушкина, далеко отошедшего от Иосифа в 16 лет («Вишня»).[13] Да, целомудрие старости — обаятельно, и у Марии, а могло бы быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, *в отношении к данной теме,* так ужасно походил на «действительного статского советника», с положением и связями, восходившими до Бенкендорфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бывают счастливые адъютанты, и вот в Дантесе Пушкин почувствовал, заподозрил, имел *психологический и метафизический фундамент* заподозрить такого счастливого «адъютанта», «помещика 23 лет Лидина», и, словом... Феба. Эсмеральда и Феб. Вы помните «Собор Парижской Богоматери» и там этот странный, горестный (до слез) роман. Эсмеральда — само упоение; ею упилась *Европа*; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста

Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был *безличен*. Эсмеральда поблекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, гениального монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин — Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы — он умен; я же только и могу припомнить: «и к мужу — *влечение твое*» (Бытие, 3). Да «к мужу» и «влечение», т. е. «муж» и есть этот «Каспий», «море», «Озирис», Феб, Дантес, уже потому «роковые», что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны — погиб тот желчный монах («Соб. Пар. Богоматери»), погиб Пушкин, *может* погибнуть Рцы, я, наш читатель. И вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но вечно «бог семьи и брака» требует и получает себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разъясню это. Конечно, можно представить, как по-видимому мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно, и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но «лучинки» бы *не рождали*! Я хочу сказать, что в тот миг, как «кровавые заклания» (на этой почве) окончательно прекратятся на земле — человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует «жертвы», без нее не будет беременности и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское — *играет*; если бы оно не играло, не пенилось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности — не ранило бы вас осколком стекла в лицо, а руку. Но *тогда оно было бы водой*, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его «как мужа» есть в сущности жажда смирить женщину и... тогда она *потеряет силу*, не будет рождать, как Татьяна в скорбном своем романе:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

А *дети?!* Что вы мне суете «старушек, которые ей улыбались», кавалеров, которые ей «почтительно кланялись», когда идет *жена*, и я спрашиваю: а где же ее *дети*? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой «милый идеал», и о чем забыл, что кощунственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анализе «Пушкинского и русского идеала женщины?» О любители *бес*-кровных жертв, в замен древних, агнячьих, голубиных, — как иногда можно ненавидеть вас и ваше!...

В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ведь, плакать хочется, — не знаю, как читателю, но мне хочется.

Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (Онегин)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд...

Страшен этот «усталый взгляд»! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, «устала»; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский — оба отказались. Пушкин устал от Бенкендорфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

С Татьяной — никого. Только старушки покланялись на рауте.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь вы же устаете? почему же только *жена* не может устать?

Поэт, усмири волны свои и *любезно рассмейся*, низко поклонясь Бенкендорфу. «Низко поклонясь?!» Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше тому, кто ей *чужд* и *на нее не похож*, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский, или мы, средненькие, Рцы, я, только для «бедной Тани» под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала;

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон; — почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», вы отнимаете «единую славу» у нее: детскую и спальню, семью и *настоящего мужа*. У Урии — только Вирсавия. У Давида — царство, слава, арфа и псалмы.[14] У Татьяны, Натальи — только возможность приласкать, но уж любимого человека, в тут явился воин, богаче в ласках царских, в исторической славе, или *явился* поэт, купающийся в волнах народной молвы:

— «Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж».

Татьяна уступила. Наташа уступила. — «Да, мне все равно!» И усмехнулась.

Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой, и потому, что он не понял необходимости глубокого *индивидуализма* семьи, без чего она есть квартира, но не есть «дом» в лучах религии и поэзии. «Святой дом» — вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин, и тысячи, — между ними Достоевский, — воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка, и что как можно составить по произволу меню для table-d'hôte' а, так же можно мистический узел семьи, мистическую *душу* семьи, *ангела* семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на «общение в этой функции». Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: функция. Она — в слезах, он — в бешенстве; или — она в терпении, он — в унынии. Да что же случилось? Да нет *лица*, не вспыхнуло *ангельское между ними* лицо. Вы говорить можете со всяким из 1.200.000 петербургских жителей; обедать — не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, — ему нужна Пушкина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, «обет», «присягу», целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения, со Стасюлевичем; я не мог бы читать, «задушевно и со вкусом», со всяким; может быть, не мог бы со всяким читать и Рцы. Вышло бы не «чтение» с засосом, вышла бы алгебра, читаемая Петрушкою, и которую, кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы *говорим* с 1.200.000, *обедаем* — с 200.000, *читаем* — с 20?! Потому что «разговор», «трапеза», «чтение» — все *одухотворяются и одухотворяются*, становятся *личнее* и *личнее, интимнее* и *интимнее*. Но общенье в предлагаемой функции супружества — настолько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и главное личнее, не говорю — разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой, — нет, тут обломилась бы «кошачья живучесть», которою гордился в себе Достоевский. Итак, секрет и тайна раскрываются: «читать» можно только с немногими; но, как «думать» можно только с собою, и при *такой* думе вспыхивает гений, поэзия, — так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть *единство субъективного лица* в кажущихся двоих. — «Ну, давай-

те думать вдвоем, *я и Рцы*». Правда, «братья Гонкуры» писали «вместе» романы, но эти романы были плохи, они не были «Войною и миром» или «Карениной». Попробуем «сочинять вместе» *«Преступление и наказание»*?! Хороша вышла бы каша. Каким же образом семью, которая, как *произведение*, конечно выше гением и мистицизмом *«Преступления и наказания»* и *«Войны и мира»*, можно «согласившись» «начинать сочинять вдвоем». Тут нужно, чтобы Бог *согласил*, т. е. семью, которая немыслима без двоих. Эти двое тогда ткут, когда их устроил Бог в одно (одно *лицо*). Великие поиски семьи, — то, что я, петербуржец, нахожу свою «судьбу», положим не в нашей улице, не в нашем городе, а при случайной и единственной поездке в Сибирь — отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это Божественное единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. «Я женюсь, и вот будет семья». Ничего подобного. Ведь вас двое, а семья именно там, где есть «одно». Вот устранение этих-то «двоих» и есть мука, наука и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было «двое»: «Гончарова» и «Пушкин». А нужно было, чтобы не было уже «ни Пушкина», ни «Гончаровой», а — Бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: «ведь они были повенчаны». Я же спрашиваю, где Бог и одно?! Совершенно очевидно, что это «Бог и *одно*» у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же свершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно оспорить меня, что Бога — не было, и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали «согласно позавтракать», тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тиран Поликрат Самосский, желая умилостивить богов, бросил в море свой перстень, но наутро он был найден в пойманной рыбаком рыбе. После того, как боги отвергли дар Поликрата, он вскоре был казнен. Этот рассказ Геродота послужил сюжетом баллады Шиллера, переведенной Жуковским.

[2] Вольный пересказ Розановым статьи Вл. Соловьева, впервые опубликованной в «Вестнике Европы» (1897, № 9. С. 31—56).

[3] Предполагая, что могло бы быть, если бы Пушкин убил Дантеса, Вл. Соловьев писал: «Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, *в которой его совершил.*»

[4] Из стихотворения Пушкина «Красавица» (1832).

[5] Оспаривая точку зрения П. П. Перцова *о том*, что Пушкин не мог составить счастья Н. Н. Гончаровой, Рцы писал: «Это Он был плох для Наташи Гончаровой?!! Он не мог составить ее счастья!!! Все стихи писал... *Да* неправда, грубая неправда факта! *Это* она посы*лает ему свои стихи, а он в ответ.*» И далее приводил фрагмент пушкинского письма к жене от 16 декабря 1831 г. и 12 сентября 1833 г.: «да чорта ли в стихах! И свои надоели. А вот, что ты еще не брюхата, — радуюсь. Впрочем, за этим дело у нас не станет. На днях возвращаюсь домой. Господь с тобою!» (Мир искусства. 1900. № 1—2. С. 20).

[6] Из стихотворения Пушкина «Красавица».

[7] Парефраз стихотворения Пушкина «Мадонна» (1830)

[8] Стихотворение Пушкина «Леда» (1814) написано на мифологический сюжет явления Зевса к красавице Леде в образе лебедя.

[9] *Далее у Рцы сказано:* «**в своем кругу, в своем обществе!**». Имеется в виду удаленность Пушкиных от петербургского двора и высшего света.

[10] Реминисценция из «Вечных спутников» (1897) Д. С. Мережковского, где о Н. Н. Пушкиной сказано: «У Наталии Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы услаждать долю петербургского чиновника тридцатых годов» (С. 458).

[11] Комментарий самого Розанова к изложению Рцы статьи П. П. Перцова.

[12] Цитаты из стихотворения Лермонтова «Дары Терека» (1839).

[13] Стихотворение «Вишня» только приписывается Пушкину, достаточных оснований для того, чтобы определенно считать его пушкинским, нет.

[14] Вирсавия — жена одного из второстепенных военачальников в войске царя Давида Урии, прельстившая Давида своей красотой (Вторая книга Царств. XI).

Вступительная заметка, подготовка текста и примечаний С. КИБАЛЬНИКА.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

БЕЛЫЙ ГОРОД

Эта изданная на высоком полиграфическом уровне книга из серии «Памятники архитектуры Москвы» представляет, без сомнения, большую ценность для всех, кто интересуется историей и архитектурой столицы, кто видит, как деградирует год от года ее архитектурный облик. Издание серии книг-каталогов такого научно-художественного уровня предпринимается в нашей стране в советское время впервые. Описание памятников в издании «привязано» к исторически сложившейся концентрической системе планировки Москвы. Первая книга, вышедшая в 1982 году, содержала каталог памятников архитектуры Кремля, Китай-города и центральных площадей. Во второй описываются архитектурные памятники Белого города — территории между центральными площадями и Бульварным кольцом.

В томе зафиксирован и описан 121 памятник архитектуры, среди них городская усадьба П. Е. Пашкова (Пашков дом), здание Московского университета, палаты Троекуровых, дом Благородного собрания (Дом Союзов), дом московских генерал-губернаторов (Моссовет), Высоко-Петровский монастырь, Рождественский монастырь, Воспитательный дом и другие.

Цель издания — каталогизация памятников архитектуры. Поэтому, конечно, нельзя обвинять ее составителей, ведущих сложную, но столь необходимую работу в том, что здесь, по сути, продолжена давняя традиция, по которой к памятникам архитектуры причисляют лишь отдельные ее объекты, имеющие историко-художественную ценность. Между тем, давно уже стало понятно, что таковую ценность в равной степени имеет и совокупность объектов — архитектурные комплексы, улицы, микрорайоны, городские районы и даже города, сохранившие историческую застройку. Такой «выборочный» подход до сих пор приводит к тому, что, проявляя в той или иной мере заботу об отдельных памятниках архитектуры, соответствующие ведомства не только не заботятся о сохранении объектов, не удостоившихся чести быть включенными в список памятников, поставленных на государственную охрану, но даже способствуют их сносу. Можно ли понимать язык, если в нем дозволено употреблять, к примеру, только существительные, а все остальные части речи «выводятся в расход»? Именно таким неуклонно деградирующим «языком» уже давно «говорят» с нами многие наши города, в том числе и столица. Поэтому представляется совершенно необходимым даже не проводя сложной историко-изыскательской работы по описанию архитектурных сооружений, которая может занять много времени, срочно осуществить и издать предварительное описание в с е й еще сохранившейся исторической застройки Москвы и придать этому описанию законодательную силу «Красной книги». Это позволит, возможно, прекратить разрушение архитектурных сооружений как в центре города, так и там, где они еще сохранились.

Ю. ЧЕХОНАДСКИЙ

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ МОСКВЫ. БЕЛЫЙ ГОРОД. — М.: Искусство, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Гуни Г. П. КАРГОПОЛЬЕ — ОНЕГА. — 2-е изд., испр., доп. — М.: Искусство, 1989. — 167 с., ил. — (Дороги к прекрасному). — 55 к. 100 000 экз.

Разумовская И. М. КОСТРОМА. — Л.: Художник РСФСР, 1989. — 208 с., ил. — (Памятники городов России). — 3 р. 80 к. 50 000 экз.

МУДРОЕ СЛОВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (XI—XVII вв.): Сб. / Сост., вступ. ст., подгот. древнерус. текстов, пер., коммент. В. В. Колесова. — М.: Сов. Россия, 1989. — 463 с. — (Сокровища древнерус. лит.). — 2 р. 40 к. 100 000 экз.

ПУСТОЗЕРСКАЯ ПРОЗА: Протопоп Аввакум, инок Епифаний, поп Лазарь, дьякон Федор / Сост., предисл., коммент., пер. отд. фрагментов М. Б. Плюхановой. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 364 с. — (Голоса времен). — 1 р. 80 к. 50 000 экз.

ПУШКИНИСТ: Сб. Пушкинской комиссии ИМЛИ им. А. М. Горького. Вып. 1 / Сост. Г. Г. Красухин. — М.: Современник, 1989. — 416 с., ил. — 1 р. 40 к. 50 000 экз.

Костомаров Н. И. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; Автобиография / Сост. В. А. Замлинский. — Киев: Изд-во при Киев. ун-те, 1989. — 735 с. — (Памятники истор. мысли Украины). — 6 р. 55 000 экз.

Козлов В. П. «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. Карамзина в оценках современников. — М.: Наука, 1989. — 233 с. — (Страницы истории нашей Родины). — 65 к. 30 000 экз.

ИСТОКИ

Легенды. Исследования. Находки.

ВОЗДВИЖЕНИЕ

События эти, о которых пойдет речь, в своем роде, предвестники большого юбилея в нашей российской культуре и литературе. Есть надежда, что в 1995 году впервые будет широко отмечен Россией и всем миром день рождения многострадального протопопа Аввакума — великого писателя, книжника и духовника Древней Руси.

Союз писателей РСФСР создает юбилейную комиссию под председательством Ю. В. Бондарева, куда войдут видные деятели культуры, литературы и искусства. Но уже и этот год, трехсотсемидесятый со дня рождения Аввакума, отмечен событиями примечательными. Известный скульптор Вячеслав Клыков завершил работу над памятником великому писателю Древней Руси. Предполагается, что он будет воздвигнут на родине протопопа в селе Григорово Горьковской области. Два необычных памятника появилось на Севере — в селе Койнас на Печорском тракте и на пустозерском городище, где 14 апреля 1682 г. был заживо сожжен Аввакум Петров. Об истории их появления наш сегодняшний рассказ, продолженный и на цветной вкладке. Ведь добрым делом, пусть и небольшим, но согретым душой, и добро множится.

Председателю Совета
по делам религий
при Совете Министров СССР
ХАРЧЕВУ К. М.

Уважаемый Константин Михайлович!

В нашем селе до 1929 года было две церкви — Никольская белая (зимняя), построенная в 1657 году, с уникальным иконостасом начала XVII века (сейчас четыре иконы из него находятся на хранении в Эрмитаже, а десять — в Архангельском музее изобразительных искусств) и летняя церковь XIX века. Обе были деревянные. В Никольской белой церкви по преданию бывал великий писатель древней России протопоп Аввакум, когда направлялся в пустозерскую ссылку. А, возможно, в эти дни и вел службу, поскольку прихожане сочувствовали противникам никоновской реформы. Писали о нашей церкви Сергей Максимов, видный писатель-этнограф, и великий северный сказочник Степан Писахов. А приход в Койнасе был образован по распоряжению новгородского митрополита в 1554 году.

Церковь разорили в 1929 году, ее первоначальный исторический вид (по архитектуре она была уникальна) обезобразили... Из сельского клуба со временем превратили в склад. Но все же уничтожить ее совсем не успели.

Новые времена вселяют надежду, что творение рук дедовых удастся спасти. Ведь Никольская белая церковь — это единственное на всей Мезени деревянное строение, простоявшее уже триста тридцать лет!

Не менее жестоко в Койнасе обошлись с обетными крестами, которых в округе села было пять. Все они сооружались не церковью, а простыми крестьянами в память о значительных событиях в жизни России и села. Из пяти уцелел лишь один, который стоит в лесу, и тот имеет вид неказистый, разрушенный, но не забыт народом. А ведь были среди них кресты трехсотлетней давности.

Нам очень приятно, что товарищ Горбачев М. С., наше правительство уделили большое внимание празднованию 1000-летия крещения на Руси. Хотя даже у наших людей, особенно у местных руководителей, отношение двоякое. Далеко не все уважают чувства верующих, и не все одобряют устремления сочувствующих верующим. Мы люди старые и всякое видели на своем веку, и немало пролили слез — ведь на наших глазах творилось зло. Милосердие вытеснено повсеместно, нелегко его вернуть, а надо! Одним из таких шагов навстречу милосердию было бы сооружение нашими односельчанами обетного креста в честь 1000-летия крещения на Руси и 370-летия со дня рождения великого правдолюбца и стойкого поборника истины протопопа Аввакума Петрова, память о котором живет в нашем народе. Мы сами выбрали место в окрестностях Койнаса, на Крутиках, в полях, потому как лучшее место, где раньше стоял крест, заняла телевизионная вышка, а ее не спихнешь.

Наши местные руководители относятся к этому настороженно, а некоторые — осуждающе, а сами такого решения принять не могут. Просим Вашего разрешения на сооружение достопамятного знака. Храм в Москве, посвященный 1000-летию, — это хорошо. Но и нам хотелось бы, в наших дальних местах, на окраине Отчизны оставить на долгие годы пусть и скромные, а памятные знаки. Оставить их потомкам, чтобы они больше не повторяли горьких ошибок беспамятства.

Ларионова
Игнатьева
Козлова
Кузьмина
Евсюгина

С уважением,
по поручению многих односельчан
Ф. С. Ларионова
А. А. Игнатьева
С. М. Козлова
М. В. Кузьмина
С. А. Евсюгина

10 СЕНТЯБРЯ 1988 Г.
СЕЛО КОЙНАС
ЛЕШУКОНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Вряд ли думали койнасские старушки, отсылая это письмо в Москву, что дело благое они затевают едва ли не первыми по всему Русскому Северу. Но как бы то ни было, письмо нашло своего адресата и благодаря стараниям ныне опального Константиина Михайловича Харчева получило успешное разрешение, и отправлено было в Архангельск еще в конце 1988 года наказное разрешение государственного Совета: удовлетворить просьбу и сотворить обетный Аввакумов крест на койнасских Крутиках.

Но тут-то все и застопорилось. Одно дело — дать разрешение или указание, другое — впервые за семьдесят воинствующе-атеистических, разрушительно-целенаправленных лет, преодолевая страх собственный и страх начальственный, — поднять в небо могучий символ памяти и неприступности, неискоренимости духа человеческого...

Руководство сельсовета и совхоза, выслушав понуждение районного начальства, затаилось, решило потянуть время, авось, повернет все назад, и у бабушек век недолог, износились они на бесплатной колхозной работе, долго ли еще протянут... Да и что они могут теперь?! Где им взять силы, чтобы сугубо мужское дело содеять...

Вот тогда-то и пришлось помогать нам, нынешним и бывшим односельчанам... Пошли по кругу. Олег Иванович Ларионов опытным глазом выбрал на лесоскладе две могучих лиственницы — «листвы», как любовно называют их здесь, лесник Анатолий Евсюгин с готовностью оформил листвы на продажу, тракторист Александр Сауков без лишних слов и объяснений с виртуозной ловкостью освободил их из плена гурта, и столь же умело поднял в гору на самые Крутики в целости и сохранности. Московский художник Владимир Грехов сделал макет и первым взялся за топор, с ним в упряд встали койнасские плотники Вениамин Семенович Карманов и Алексей Пермеловский... Задумано было рубить только топором по северным стародедовским, старообрядским образцам. А морозец крепчал, посвистывал вершинный пронизывающий хиус, листва неподатливо звенела, неуступчиво вязли топоры... Но вершилось дело душевное, не забытое в генной памяти. И с веселым энергичным покриком неутомимо взлетали навостренные топоры...

А когда сооружение обрело лицо и вид величественный, поднялись в гору опытные такелажники из архангельской мехколонны-20: прораб Александр Николаевич Пиута, бригадир Михаил Алексеевич Матвеев, машинист Владимир Егорович Гордеев и водитель Василий Михайлович Кичигин.

Они осмотрели крест, место и принялись бурить землю. Скупые расчетливые движения — и белотелая громада в полторы тонны весом легко зависла в воздухе, поплыла над самой опушкой горы, любовно поддерживаемая теплыми руками такелажников, и мягко вошла в землю...

Надо сказать, что в прежние времена это была самая ответственная и самая трудная операция: подготовка ямы, опускание основания и подъем креста... Все село собиралось, чтобы на стропилах вздыбить огромный крест... Случалось, что и светлого дня не хватало только на воздвижение...

Но теперь умелые люди всю операцию провели за полчаса. И вот уже парит в небе, над лесом, над полем, над селом восьмиметровый, благословенный обетный крест.

Помните, люди добрые, гения Земли Русской Аввакума Петрова!

Вот так бы нам, всегда памятуя о многострадальной, многомученической земле нашей, всякое доброе дело совершать единым порывом, единым братским помыслом. Какую б красоту воздвигли!

АРС. КУЗЬМИН

27 ОКТЯБРЯ 1989 г. —
В ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ
ОБЕТНОГО КРЕСТА.
СЕЛО КОЙНАС НА МЕЗЕНИ.

КОЛОКОЛ ПУСТОЗЕРСКА

Памятник протопопу Аввакуму был открыт 16 сентября 1989 года на предполагаемом месте сожжения более чем три века назад несгибаемого ревнителя древлеправославной веры, автора классического в отечественной литературе «Жития» с его соузниками Епифанием, Лазарем и Федором в Пустозерске, единственном в истории средневековом городе за полярным кругом. Некогда город сей был северным форпостом российской державы, потом утратил свое значение, окончательно прекратив существование уже в нашем веке... В этот солнечный теплый

день завершающегося «бабьего лета» на нескольких вертолетах МИ-8 прибыли на берег Городецкого озера из недалекого Нарьян-Мара, где впервые проводилась конференция «Пустозерск. Проблемы. Поиск», участники торжественной церемонии, среди которых — гости из других городов, последние жители Пустозерска, получившие возможность навестить могилы предков, школьники и студенты, несколько журналистов, посланцы Русской старообрядческой церкви...

Не по-осеннему яркими были краски этого дня, нарядны были невысокие здешние березы, повсюду под ногами стелилась тронутая заморозками голубика... Не сразу можно понять, сколь многотрудным было бытие поселившихся здесь людей. «Здесь нельзя было жить без веры — без великой веры!» — сказал побывавший на пустозерском городище ненастным летним днем 1981 года Федор Абрамов. «Место тундряное, студеное и безлесное»... Быстро пал духом сосланный сюда хранитель царской печати при государе Алексее Михайловиче боярин Артамон Матвеев, здесь лишился рассудка от тоски и горя старший сын проведшего в Пустозерске 20 лет ссылки фаворита царевны Софьи Василия Голицына, постоянно молившего о вызволении отсюда в своих челобитных. Но 15 лет пустозерского заточения Аввакума — это кипучая деятельность, создание «Жития» и других рукописей... Достойно несли свою службу простые жители городка. Шла своим чередом торговля мехами, всегда обильным был рыбный улов.

Ныне об отшумевшей здесь жизни свидетельствуют лишь высокие кладбищенские кресты и поставленный в 1960 году стараниями известного на Севере подвижника, крупнейшего филолога-археографа В. И. Малышева памятник, сложенный из камней фундамента одной из четырех пустозерских церквей... Могилы своих предков поддерживает в порядке семья потомственных пустозеров Спирихиных, история которых ждет еще своего бытописателя.

В тот сентябрьский день была прибита памятная доска с надписью на уже установленный неделю назад мемориальный знак — воздвигнутые над лиственным срубом резные столбы, покрытые «голубцом» — навесом по подобию старообрядческих крестов с колоколом на перекладине. Емким символом, продуманным по замыслу и воплощению, встал в Пустозерске этот памятник самому знаменитому из ступавших до древней заполярной земле. А ведь не было ни конкурсных схваток, ни авторитетных жюри, не многотысячных ассигнований и премий... Было одно — желание воздать должное великому соотечественнику, непоколебимому в своей вере. «Иного же отступления уже нигде не будет: везде бо бысть; последняя Русь зде». Самого царя не страшась, укорял «протопоп-богатырь»: «А киреленсон-от оставь ... ты, ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах»...

Около двух лет назад пришел топограф нефтегазоразведочной экспедиции Михаил Фещук в окружной краеведческий музей, а затем и редакцию местной газеты. Познакомился он и с энтузиастом-краеведом журналистом Виктором Федоровичем Толкачевым. Давно зрела потребность что-то начать делать. Непосредственным же побудительным толчком стало известие о кощунстве над могилой погребенной на пустозерском кладбище в феврале 1797 года жены ярославского купца Марии Ивановны Кривошеиной. Появились и в здешних краях готовые на все небескорыстные «ценители старины».

Первым шагом стала установка на берегу Городецкого озера добротно сделанного информационного стенда — «охранной грамоты» городища, на памятных местах были прочно закреплены в грунте выписанные славянской вязью таблички. Помогли в этом деле друзья из экспедиции.

Обзавелся Михаил и специальной литературой после знакомства с приехавшими наконец в Пустозерск в 1987 году археологами из Ленинграда, для которых он делал топографическую съемку городища. Настольной стала фотография с известного плана XVII века из книги Н. Витсена «Северная и Восточная Татария», которая была издана в том же веке в Амстердаме и на русский язык так и не переведена.

Во время нашей беседы с Михаилом у него дома на Рабочей улице Нарьян-Мара хотелось мне понять, что же все-таки подвигло его, весьма далекого от кругов профессиональных историков и искусствоведов, к вроде бы не столь популярным среди большей части нашей молодежи занятиям краеведением. Включившийся в разговор его отец Иван Наумович Фещук, бурильщик, кавалер двух орденов, делегат XXVII съезда КПСС, вспомнил, как в 1960 году стояла их бригада неподалеку от брошенного селения и рабочие, посмеиваясь, растапливали печь старинными толстыми книгами с непонятными письменами...

Здешние легенды знал Михаил от бабушки и матери, урожденной Кожевиной (а фамилия эта — одна из исконно печорских). Свой след оставил и Ленинград, где учился в техникуме, ходил в Эрмитаж и Русский музей, работал на практике в пустых перед сносом старых петербургских домах, где не были редкостью мастерской работы медная дверная ручка или великолепные изразцы, ждущие последних ударов кувалдой...

Вместе с отцом, вскоре разделившим увлечение сына, ездили на машине по окрестностям Нарьян-Мара, собирая для музея ножевидные пластины, наконечники стрел и дротиков, фрагменты керамической посуды на местах древних стоянок. В деревнях Тельвиска, Никитцы, Бедовое на заброшенных чердаках находили дуги, деревянную посуду, прялки. Каргопольская роспись, мезенская резьба — многое, многое утрачивается и легко забывается нами. Для записей рассказов стариков и старушек пришлось использовать и часть магнитофонных кассет с записями «Deep Purple» и «Pink Floyd». В газете «Нярьяна вындер» появились написанные Михаилом после таких поездок очерки о покинутых печорских селах «Жила-была Смекаловка», «Сказ о Голубково», о здешних старожилах «О чем молчит Ко-ло-кол», и, конечно, — «Слово об Аввакуме Петрове».

Столь активно изучая этот край, нельзя пройти мимо ярчайшей в отечественной истории XVII века личности протопопа Аввакума. Уже в зрелом возрасте было прочитано не включенное в школьные программы «Житие»... Тут-то и пришла мысль, что памятника Аввакуму на месте высшего взлета его духа, на месте его казни — нет. Хотя в наши-то дни все в общем согласны, что памятник этот — нужен.

Самому пришлось рисовать проект, нашлось время и для поездки за советом в Ленинград, в Пушкинский дом. На выделенные комсомолом невеликие средства были закуплены бревна лиственницы. Спасибо и руководству экспедиции, не препятствовавшему тому, что оставались ребята после работы для обработки бревен, нанесения на них резьбы... Так был создан памятник.

8 сентября 1989 года столяр Борис Новолодский, токарь Фанур Шаихов, начальник отдела кадров Вячеслав Кузьмич Корепанов и топограф Михаил Фещук на вертолете перевезли памятник в Пустозерск. Из соседней деревни Устье на лодке прибыли на помощь старожилы — Алексей Петрович и Алексей Александрович Поповы и Александр Михайлович Спирихин. После нескольких часов тяжелой работы с пятиметровыми бревнами цель была достигнута. Молодежная часть «бригады» осталась ночевать в Пустозерске, пожилые отправились обратно в Устье.

Такова краткая история установки памятника, которому давно бы уже пора стоять в Пустозерске, как об этом мечтал еще В. И. Малышев. Впрочем, нерешенных проблем, конечно, еще с избытком. О них немало было сказано на конференции и «круглом столе».

До сих пор стоит в деревне Устье перевезенный туда сруб пустозерской Преображенской церкви. Находится в нем, как всем известно, конюшня, — сказал в своем сообщении уроженец этих краев, первый директор музея Ф. Абрамова в Верколе И. Н. Просвирнин, который предложил масштабный проект создания Пустозерского историко-природного государственного музея-заповедника. Пустозерск, по его мнению, должен стать Меккой Севера, центром массового паломничества.

Представителей Русской старообрядческой церкви, однако, эта перспектива не порадовала. Они полагают, что разворачивание индустрии туризма нанесет непоправимый ущерб святому месту. Увы, слишком низка еще культура

нашего общества... Предполагается, помимо светского памятника, восстановление в Пустозерске известного старообрядческого Аввакумова креста. Выступивший на конференции посланец древлеправославной поморской церкви Латвии М. Пашинин говорил также о том, что следует помнить — крайне важно не то, как писал, а то, что писал протопоп Аввакум, передавший последователям «древней христианской традиции» силу убеждений на века, утвердив возможность побеждать духовно, не одерживая материальных побед... На фоне потрясений и катастроф современного мира у старообрядцев, рассеянных по всему миру, все в порядке — и дом, и дети, — говорил представитель Вильнюсской общины В. Дегтярев, в заключении своего выступления исполнив вряд ли кем из присутствующих слышанную русскую песню.

Сообщили старообрядцы и о готовности оказать поддержку окружному краеведческому музею, где совсем еще недавно даже и не упоминалось имя Аввакума. Ныне этот пробел начинает восполняться, неслучайно директор музея Т. Ю. Журавлева — инициатор проведения конференции, которая, как было сказано во вступительном слове заместителя председателя исполкома Н. Г. Филиппова, стала значительным событием в культурной жизни.

Интересная информация содержалась в докладе архангельского краеведа Н. А. Окладникова «Пустозерск — как место ссылки». Однако, как считает П. М. Спирихин, слишком узко рассматривать город лишь в таком ракурсе, ведь это был центр, давший жизнь огромному краю, славный поколениями тружеников и воинов — защитников Отечества. В. Ф. Толкачев рассказал о посещении Ф. Абрамовым, современным писателем «из колена аввакумова», Пустозерска.

Выступил на «круглом столе» и Михаил Фещук, возглавивший недавно окружное отделение ВООПиКа. Сколько же можно увозить в центральные музеи все, собранное в округе, все книги и иконы? Все должно остаться здесь, а не пылиться в фондах музеев в крупных городах. Исключение может быть сделано лишь для памятников мирового и всесоюзного значения.

О многом было сказано в эти два сентябрьских дня в Нарьян-Маре и Пустозерске. Переводя разговор в практическую плоскость, секретарь окружкома КПСС И. Е. Ледков говорил о необходимости конкретных разработок, работе над наказами перед выборами в Советы.

Впрочем, часть программы разработана в письмах руководству Архангельской области писателей-уроженцев Севера, среди которых — А. Михайлов, Ю. Галкин, В. Личутин... Известно и письмо Ю. Бондарева, А. Михайлова и П. Проскурина от лица Секретариатов Правлений Союза писателей РСФСР, Московской писательской организации и Всероссийского фонда культуры. Отмечая, что 1990 и 1995 годы должны стать памятно-аввакумовскими, поскольку это годы 370- и 375-летия со дня его рождения, предложен ряд мер по увековечиванию его памяти. В их числе — создание музея на пустозерском городище, присвоение одной из улиц, школ и библиотек Нарьян-Мара имени Аввакума Петрова, организация традиционных аввакумовских чтений, открытие постоянного вертолетного маршрута в Пустозерск. Необходимо и в Архангельском музее развернуть широкую экспозицию о ссылке Аввакума, ждет своей очереди создание культурного центра в селе Койнас Лешуконского района, где по преданию был Аввакум в Никольской церкви осенью 1667 года на пути в пустозерскую ссылку...

И все же главное, как убедила меня история установленного в сентябре 1989 года памятника, — это посильная деятельная инициатива подвижников, их понимание, что не будет всем нам достойной жизни даже в самом что ни на есть материальном смысле без сохранения духовных опор, памяти, устоев, проверенных поколениями наших предков. А уж потом будут и конференции, и торжественные церемонии, и соответственные значимости момента хорошие речи. «...Понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет», — так писал в пустозерской темнице протопоп Аввакум.

А. ТИМОФЕЕВ

ПАМЯТНИК АВВАКУМУ

Давно ли отшумели страсти
с памятником Сергию
Радонежскому. И вот стоит
он в древнем Радонеже,
стоит не благодаря, а вопреки
всем инструкциям и
предписаниям о том, где и кому
можно ставить памятники.
Есть, оказывается, такая особая
номенклатура памятников,
свой табель о рангах, в котором
великому подвижнику
Древней Руси Сергию
Радонежскому места,
конечно же, не нашлось.
Не по министерскому заказу,
не по разнарядке создал его
скульптор Вячеслав Клыков,
а по зову сердца. Потому что
поверил: должен стоять
памятник Сергию на Руси.
Точно так же поверил
скульптор и в то, что должен
стоять на многострадальной
Руси памятник
многострадальному протопопу
Аввакуму. И место нашел для
него в родном аввакумовском
поволжском селе Григорово,
где и будет воздвигнут этот
монумент.
Да, будет! Если даже
Министерство культуры
РСФСР вновь окажется
в стороне от российской
культуры. Памятник Аввакуму
все равно будет поставлен
от имени России. Это ее знаки
памяти — Сергий Радонежский
и протопоп Аввакум.
И глубоко символично, что
все три памятника протопопу
Аввакуму — в Пустозерске,
Койнасе и в Григорово —
возникли совершенно
независимо друг от друга
и почти одновременно. И все
три — по зову сердца.
А это значит, что не все
потеряно, что сердца и души
народные начинают оживать...

Фото ПАВЛА КРИВЦОВА,
ВИКТОРА КОНОПЛЕВА,
СЕРГЕЯ СЕВОСТЬЯНОВА,
ВЛАДИМИРА ВЕШНЯКОВА

Вячеслав Клыков в мастерской.



МОСКВА. ОРДЫНКА

Проект памятника протопопу Аввакуму В. Клыкова

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

Человек, особенно, кто слишком занят обязанностями общественной жизни, не прощает другим, когда они ставят что-либо выше своих партийных разногласий. Он особенно порицает тех, кто подчиняет политические вопросы социальным проблемам, и выражает относительно первых некоторого рода равнодушие. Он прав в известном смысле, потому что всякое исключительное направление вредно для хорошего управления человеческими делами. Но какой прогресс заставили сделать партии в общей нравственности человечества? Если бы Иисус, вместо того, чтобы основать небесное царство, отправился в Рим и погубил себя, замышляя против Тиверия или сожалея Германика, то что сталось бы с миром? Строгий республиканец и ревностный патриот, Иисус не удержал бы великого течения вещей своего века, тогда как, провозглашая политику делом маловажным, он объявил миру ту истину, что отечество — еще не все, и человек стоит прежде и выше гражданина.

Наши принципы положительной науки оскорблены частью грез, которые заключала программа Иисуса. Мы знаем историю земли; революции, подобные той, какую ожидал Иисус, происходят только вследствие геологических или астрономических причин, а связь последних с причинами нравственного порядка никогда не была констатирована. Но из справедливости к великим творцам, не следует останавливаться на предрассудках, которые они могли разделять. Колумб открыл Америку, исходя из весьма ложных идей; Ньютон считал свое безумное объяснение Апокалипсиса столь же верным, как и свою систему мира. Но разве можно поставить выше Франциска Ассизского, св. Бернара, Жанны д'Арк или Лютера среднего человека нашего времени только потому, что он свободен от тех заблуждений, которые разделяли эти последние? Разве захотел бы кто-нибудь мерить людей правильностью их идей в физике и более или менее точным знанием истинной системы мира? Поймем лучше положение Иисуса и то, что составляло его силу. Деизм XVIII столетия и протестантизм приучили нас смотреть на основателя христианской веры только как на великого моралиста и благодетеля человечества. Мы видим в евангелии только хорошие нравственные правила; мы благоразумно набрасываем покров на странное умственное состояние, в котором оно родилось. Есть люди, которые сожалеют также, что французская революция несколько раз выходила из границ, и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных буржуа к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Будем продолжать удивляться «евангельской морали»; умолчим о наших религиозных уроках о химере, которая была ее душой; но не будем верить, что простыми идеями счастья или индивидуальной нравственности можно сдвинуть мир. Идея Иисуса была гораздо глубже; это была самая революционная идея, существовавшая когда-либо в человеческом мозгу. Она должна быть взята во всей своей совокупности, а не с боязливыми умалчиваниями, поистине отнимающими у нее то, что сделало ее действительной для возрождения человечества. В сущности, идеал — всегда утопия. Когда мы желаем теперь представить Христа новейшего сознания, утешителя и судью новых времен, то что мы делаем? — То, что сделал Иисус 1830 лет тому назад. Мы предполагаем условия реального мира совсем иными, чем они есть; мы представляем себе нравственного освободителя, разбивающего без оружия оковы негра, улучшающего условия жизни пролетария, освобождающего угнетенные народы. Мы забываем, что это предполагает обращенный мир. «Всеобщий переворот», которого хотел Иисус, не казался более трудным. Эта новая земля, новое небо, этот новый Иерусалим, спускающийся с неба, этот крик: «Вот, — я творю все новое» — суть черты, общие реформаторам. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве эти мятежи против холодного разума, считаемые посредственными умами за безумие, до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум.

На самом деле, что отличает Иисуса от современных ему агитаторов и от агитаторов всех веков, — это его абсолютный идеализм. Иисус в некоторых отношениях анархист, так как у него нет никакого представления о гражданском правительстве. Это правительство кажется ему, безусловно, обманом; он говорит о нем в неопределенных выражениях, на манер лица из народа, не имеющего никакого понятия о политике. Всякий правитель кажется Иисусу естественным врагом божьих людей; он предсказывает своим ученикам столкновения с полицией, ни на минуту не останавливаясь над тем, что это могло бы быть поводом к сопротивлению. Но у Иисуса никогда не появляется искушения занять место сильных мира сего. Он хочет уничтожить богатство, власть, а не завладеть ими. Он предсказывает своим ученикам преследования и казни; но у него ни разу не проскальзывает мысль о вооруженном сопротивлении. Мысль, что все можно сделать терпением и безропотностью, что над силой торжествует чистое сердце, — есть мысль, вполне принадлежащая Иисусу. Иисус не спиритуалист, потому что все для него идет к осязаемой реализации. Он — совершенный идеалист, так как материя была для него только символом идеи, а реальное — живым выражением того, что не является глазам людей.

К кому обратиться, на кого рассчитывать, чтобы основать царство божие? Относительно этого мысль Иисуса никогда не колебалась. Что высоко у людей, в глазах Бога представляется мерзостью. Основатели царства божия будут простые люди. Не надо богатых, книжников и священников; женщины, простолюдины, смиренные, незнатные — вот *основатели*. Великое знамение Мессии, это «благая весть, несомая Бедным». Идиллическая

* *Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.).*

Продолжение. Начало в №№ 8—10, 12/1989, 1/1990. Произведение публикуется полностью.

н мягкая натура Инсуса взяла здесь верх. Неизмеримая социальная революция, в которой будет нарушен порядок всех классов, когда все, что узаконено в этом мире, будет унижеио, — вот мечта Иисуса. Мир не поверит ему; мир убьет его. Но его ученики ие будут от мира. Они будут небольшою кучкой смиренных и простых людей, которая победит самой своей кротостью. Чувство, сделавшее «мирской» антитезою «христианский», находит себе в мыслях учителя полное оправданне.

ГЛАВА VII.

Иисус в Капернауме

Весь во власти идеи, становящейся все более и более повелительной и исключительной, Иисус отныне пойдет с некоторым даже бесстрастием по дороге, начертанной его удивительным гением и чрезвычайными обстоятельствами, в которых ои находился.

До этого он открывал свои мысли только нескольким лицам, тайно привлеченным к нему; отныне, его учение делается публичным и непрерывным.

Иисусу было около 30 лет. Небольшая группа слушателей, сопровождавшая его возле Иоанна Крестителя, без сомиения, возросла и, пожалуй, к нему присоединились некоторые ученики Иоанна.

С этим первым ядром церкви, он смело, по своем возвращении в Галилею, возвещает «благовестие о царстве божием».

Это царство должно было наступить, и он, Иисус, был тем «сыном человеческим», которого заметил Даниил в своем видеиии, как божественный страж последнего и высшего откровения.

Успех слова нового пророка был на этот раз решительный. Толпа мужчнн и женщин, отличавшихся одним и тем же духом юношеского чистосердечия и простодушной невинности, присоединились к Иисусу и сказали ему: «Ты мессия». Так как мессия должеи был быть сыном Давида, то ему, естественно, присудили этот титул, бывший синонимом первого. Иисус с удовольствием позволил дать его себе, хотя это создавало ему некоторые затруднеиия, так как его происхождение было совершенно простонародным. Сам же Иисус предпочитал титул «сын человеческий», — титул, по-видимому, скромный, но связанный непосредственно с надеждами на мессию. Этим словом Иисус называл себя, так что в его устах «сын человеческий»» было синонимом местоимения «я», пользоваться которым он избегал. Но к нему никогда не обращались таким образом, без сомнеиия, потому, что имя, о котором идет дело, должио было принадлежать ему только в день его будущего появления.

Центром действий Иисуса в эту эпоху его жизни был маленький городок Капернаум, расположенный на берегу Генисаретского озера. Имя Капернаум, в которое входит слов *кафар* (деревня), обозначает, как кажется, небольшое селение, на древний манер, — а противоположность большим городам, выстроенным, как Тивериада, по римской моде. Это имя имело так мало известности, что Иосиф, в одном месте своих сочинений, считает его названием одного фонтана: фонтаи, следовательно, имел больше известности, чем расположенная близ иего деревня. Капернаум, как и Назарет, ие имел прошлого и совершенно ие участвовал в языческом движении, которому покровительствовали Ироды. Иисус очень привязался к этому городу и сделал его как бы вторым своим отечеством. Немиого спустя, после своего возвращения, Иисус сделал одну неудачиую попытку в Назарете. Он не мог, по наивиому замечанию одного из своих биографов, совершить там чуда. Сведения, имевшиеся там об его семействе, которое было низкого происхождения, сильно вредили авторитету Иисуса. Как можно было считать Иисуса сыном Давида, раз его брата, сестру, зятя видели постояннио! Замечательио, впрочем, что его семейство оказывало ему довольно резкое противодействие и откровеиио отказалось верить в его миссию[1]. Гораздо более жестокие назареяне, хотели, говорят, убить его, сбросив с крутой скалы. Иисус остроумно заметил, что этот случай с ним общ для асех великих людей, и применил к себе пословицу: «Никто не бывает пророком в своем отечестве».

Эта неудача далеко не обескуражила Иисуса. Он снова возвратился в Капернаум, где он встречал гораздо лучший прием. Оттуда Иисус организовал ряд миссий в небольшие окрестные города.

Население этой прекрасной и плодородной страны собиралось вместе только в субботу. Ее-то и избрал Иисус для своих поучеиий.

У каждого города была тогда синагога, или присутственное место. Это была прямоугольная небольшая зала с портиком, украшенным греческими ордерами. Иудеи, не имевшие собственной архитектуры, совсем не старались дать этим зданиям оригинальиого стиля. В Галилее еще находятся остатки некоторых стариниых синагог. Все оии выстроены из крепкого и хорошего материала; ио их стиль довольно груб, благодаря тому изобилию растительиых украшеиий, ветвей, извилистых лент, которое характеризует иудейские памятники. Внутри находились скамьи, кафедра для публичного чтения и шкаф для хранения священиых свитков. Эти здания, не имевшие ничего общего с храмом, были центром всей иудейской жизни. Там в субботу собирались для молитвы и для чтения закона и Пророков. Ввиду того, что иудейство вне Иерусалима не имело духовеиства, то первый пришедший поднимался на кафедру, совершал дневные чтения и прибавлял к ним совершенио субъективный комментарий, где он выставлял свои собственные идеи. Это было начало «гомелии», которой совершенный образец мы находим в небольших трактатах Филона. Лектору имели право делать возражения и вопросы; таким образом, простое соединение людей живо превращалось как бы в свободиое собрание. Оно имело президента, «старшин», *гассана*, собственного лектора или сторожа, «вестников» — род секретарей или почтарей, которые вели переписку одной синагоги с другой; своего *шаммаша* или ключаря. Таким образом, синагоги были настоящими маленькими независимыми республиками; они имели обширное ведомство; как все городские корпорации до позднейшей эпохи римской империи, они составляли особые уставы, принимали решения, имевшие силу закона для общины, и приговаривали к телесиым наказаниям, исполнителем которых был обыкновенно *гассан*.

Вместе с крайней живостью ума, всегда характерной для иудеев, такое учреждение, несмотря на допускаемые им произвольные строгости, не преминуло дать место очень оживленным прениям. Благодаря сниагогам, иудейство могло пройти иевредимым 18 веков гоиений. Это были настоящие отдельные маленькие мирки, в которых хранился национальный дух и где внутреиним распрям предоставлялось совершенно готовое поле. Там тратилось громадное количество страсти, и происходили жестокие раздоры из-за первеиства. Иметь почетное кресло в первом ряду в качестве награды за высокое благочестие или как привилегию богатства было предметом величайших вожделений. С другой стороны, свобода определять себя лектором и комментировать священный текст, предоставленная всякому, кто желал получить ее, давала удивительные удобства для распространения новшеств. Это

---

[1] Матф., XIII, 57; Марк. VI, 4; Иоанн, VII, 3 и сл. *Перев.*

дало величайшую силу Иисусу и явилось самым обычным средством, употреблявшимся им для основания доктринальной части своего учения. Он входил в синагогу и поднимался, чтобы читать; *гассан* подавал ему книгу; Иисус развертывал ее и, читая очередную главу, извлекал из этого чтения некоторые подробности, соответствующие его идеям. Так как в Галилее было мало фарисеев, то спор с Иисусом не принимал такой резкости и язвительного тона, которые могли бы быстро остановить его с первых шагов. Эти добрые галилеяне никогда не слышали слова, настолько подходившего к их улыбающемуся воображению. Ему удивлялись, его лелеяли, находили, что он говорил хорошо и что его доводы были убедительны. Он уверенно разрешал самые трудные возражения; очарование его личности и его слова пленяло это, еще молодое и не высушенное педантизмом книжников, население.

Таким образом, авторитет молодого учителя рос с каждым днем, и, естественно, — чем более верили в него, тем более он сам верил в себя. Круг его деятельности был очень узок. Он исключительно был ограничен бассейном Тивериадского озера, и даже в этом бассейне у него была предпочитаемая область. Озеро имеет 5 или 6 лье в длину и 3 или 4 в ширину; хотя оно и представляет довольно правильный овал, но образует, однако, от Тивериады до устья Иордана род залива в окружности около 3-х лье. Вот *поле*, где семя Иисуса нашло, наконец, хорошо подготовленную почву. Станем обозревать *его* шаг за шагом, пытаясь поднять покров сухости и печали, наброшенный на него демоном исламизма.

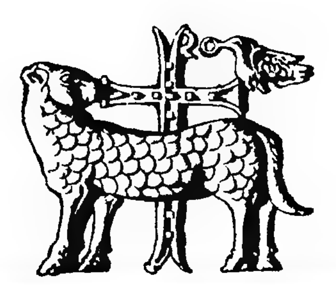
По выходе из Тивериады, сначала встречаешь крутые скалы и гору, будто обрушивающуюся в море. Затем горы удаляются; почти в уровень с озером открывается равнина (El Ghoueir). Это — восхитительная рощица из высокой зелени, изборожденная изобильными водами, частью выходящими из большого круглого бассейна старинного устройства (Ain-Medawara). В начале этой равнины, являющейся Генисаретской страной, в собственном смысле, находится жалкая деревушка *Меджделъ*. На другом конце равнины (постоянно идя возле моря) находишь городское место *Хан-Миньэ* (Khan-Minyeh), прекраснейшие воды *(Аин-Эт-Тин)* и красивую, узкую и глубокую дорогу, высеченную в скале, по которой, без сомнения, часто ходил Иисус и которая служит проходом между Генисаретской равниной и северным склоном озера. Оттуда, через четверть часа, переходят маленькую речку с соленой водой *(Аин-Табига)*, выходящую из земли несколькими широкими источниками недалеко от озера и впадающую в него среди густой чащи зелени. Наконец, на сорок минут пути дальше, на сухой покатости, простирающейся от *Аин-Табига* до устья Иордана, находится несколько хижин и куча довольно монументальных развалин, по имени *Тель-Юм*.

Пять небольших городов, о которых вечно будет говорить человечество, как и о Риме и Афинах, были разбросаны при Иисусе в пространстве от деревни Меджделъ до Тель-Юма. Из этих 5-ти городов — Магдала,Далманута, Капернаум, Вифсаида и Хоразин — с достоверностью можно найти лишь первый. Ужасная деревня Меджделъ, без сомнения, сохранила название и положение местечка, давшего Иисусу самую верную его подругу. Далманута была, вероятно, вблизи отсюда. Нет ничего невозможного, что Хоразин лежал несколько в землях северной стороны. Что касается Вифсаиды и Капернаума, то их наверно почти наудачу помещают в Тель-Юм, в Аин-Эт-Тин, в Хан-Миньэ и в Аин-Медавару. Можно сказать, что в топографии, как и в истории, по какому-то глубокому плану скрыты следы великого основателя. Сомнительно, чтобы когда-либо удалось на этой, до последней степени разоренной земле указать места, куда стекалось бы лобызать следы ног Иисуса все человечество.

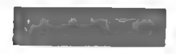
Озеро, горизонт, кусты, цветы — вот все, что осталось от маленького кантона, размером от 3-х до 4-х лье, где Иисус положил основание своему божественному делу. Деревья исчезли совершенно. В этой стране, где растительность была некогда так великолепна, что Иосиф видел в ней как бы чудо — природа, по его словам, соединила здесь по своей прихоти бок о бок растения холодных стран, произведения жарких поясов и деревья умеренных климатов, обремененные круглый год цветами и плодами, — в этой стране, говорю я, теперь высчитывают за день вперед место, где на другой день можно найти немного тени для своего отдыха. Озеро сделалось пустынным. Единственная барка, в самом плачевном состоянии, бороздит теперь эти когда-то так богатые жизнью и радостью волны. Но воды постоянно легки и прозрачны. Берег, составленный из скал или валунов, является вполне берегом маленького моря, а не пруда, как берега озера Hulch. Он открыт, чист, ровен, и легкое движение волн постоянно ударяет его в одном и том же месте. Там вырисовываются небольшие мысы, покрытые олеандрами, гребенщиками и колючими каперсовыми кустами; в двух местах, особенно при выходе Иордана, близ Тарихеи и на краю Генисаретской равнины, — находятся очаровательные цветники, где тонут волны в чащах газона и цветов. Ручей Аин-Табига образует маленький лиман, полный красивых раковин. Озеро покрывают тучи плавающих птиц. Волны света делают горизонт ослепительным. Воды, цвета небесной лазури, заключенные глубоко промежду горячих скал, кажутся занимающими основание золотой чаши, когда на них смотреть с вершины гор Сафеда. На севере вырезываются белыми линиями на небе снежные лощины Гермона; на западе высокие волнистые плоскогорья Голонитиды и Переи совершенно сухие и одетые, благодаря солнцу, как бы бархатной атмосферой, образуют компактную гору или, лучше сказать, длинную, очень высокую террасу, от Цезареи Филиппа бесконечно удаляющуюся к югу.

Жара на берегах в данное время очень тягостна. Озеро занимает впадину, находящуюся ниже уровня Средиземного моря на 200 метров, и заключает, таким образом, в себе чрезмерно жаркие свойства Мертвого моря. Некогда эту чрезмерную жару умеряла изобильная растительность; трудно понять, как такое горнило, — какое представляет теперь весь бассейн озера, начиная с мая, — когда-то было ареною столь чудесной деятельности. Иосиф, впрочем, находит климат очень умеренным. Без сомнения, в этой стране произошло, как в римской деревне, некоторое климатическое изменение, вызванное историческими причинами. Исламизм, и в особенности мусульманская реакция против крестовых походов, иссушили, на подобие смертоносного ветра, округ, избранный Иисусом. Прекрасная генисаретская земля не подозревала, что под челом этого мирного странника решались ее судьбы. Опасный соотечественник, Иисус был фатальным для страны, имевшей страшную честь носить его. Галилея, став для всех предметом любви или ненависти, желаемая двумя соперничающими фанатизмами, должна была за свою славу обратиться в пустыню. Но кто может сказать, что Иисус был бы более счастлив, прожив полный человеческий возраст неизвестным в своей деревне? И кто стал бы думать об этих неблагодарных назареянах, если бы один из них, рискуя скомпрометировать будущее их городка, не узнал бы своего отца и не провозгласил бы себя сыном божиим?

Продолжение следует.



РУССКАЯ МЫСЛЬ



Человек. Прогресс. Личность.

Выдающиеся русские ученые Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский были не менее выдающимися общественными деятелями, яркими публицистами, выступавшими на страницах печати со статьями по наиболее жгучим проблемам своего времени. Эта сторона их жизни пока только приоткрывается, как и многое другое незаслуженно забытое в нашей культуре и истории.

Общественно - политические взгляды В. И. Вернадского (1863—1945) начали формироваться в студенческом кружке, возникшем в 1882 году. Ядро кружка, помимо В. И. Вернадского, составляли Д. И. Шаховской, С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбурги, А. А. Корнилов и Л. А. Обольянинов. Члены кружка вели огромную просветительскую работу, в 1891/92 годах организовали борьбу с голодом в Тамбовской губернии. Многие из них стали известными учеными и педагогами, земскими деятелями.

Надежды земцев на участие в делах внутреннего управления страной в связи со вступлением на престол Николая II не оправдались. Николай II не захотел изменить самодержавную политику, заведшую в тупик Россию в

XIX веке. Поэтому земцы-конституционалисты начали готовиться к решительной оппозиционной деятельности.

В 1900—1902 годах на квартире Вернадских в Москве состоялись совещания, на которых было решено издавать за границей журнал «Освобождение», пропагандирующий конституционные идеи, и нелегальным образом распространять его в России.

Вопрос о создании тайного общества для реализации задуманных планов решался на съезде в Германии, где, помимо В. И. Вернадского и его единомышленников-земцев, присутствовали также другие выдающиеся представители интеллигенции (среди них были, например, С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев). На съезде было решено образовать союз общественных групп, различных по своим политическим убеждениям, получивший название «Союз Освобождения».

В 1905 году земцы-конституционалисты пришли к необходимости создания политической партии. Для этого была избрана комиссия, в которую вошел и В. И. Вернадский, подготовившая проведение первого съезда партии. Она получила название конституционно-демократической (кадеты), а на втором съезде в 1906 году — партии народной свободы. В. И. Вернадский был избран в Центральный Комитет.

Разгон первых двух Государственных дум и нарастающая реакция тяжело сказались на деятельности партии. Те из ее активистов, которые не были лишены политических прав в результате суда, последовавшего за воззванием к народу ряда членов распущенной первой Думы, могли участвовать в политической жизни страны весьма ограниченно.

В. И. Вернадский продолжал работу в Моршанском и Тамбовском земствах, где он состоял гласным до 1907 года и с 1910 по 1913 год. Он много сделал для организации народного образования и медицины в губернии. Кроме того, в 1906 году он был избран в Государственный Совет от Академии наук и университетов. Работу эту он считал исполнением «морального долга гражданина».

В сентябре 1917 года В. И. Вернадский дал согласие занять пост товарища министра народного просвещения. Хотя власть Временного правительства и была непрочной, ему удалось сделать много полезного на этом поприще. Приобрел самостоятельность Пермский университет, были заложены основы для образования Грузинской, Украинской и Сибирской Академий наук. В 1918 году В. И. Вернадский был единогласно избран первым президентом Академии наук Украины. Считая невозможным совмещать пост президента Академии с членством в какой-либо партии, он подал заявление о выходе из партии кадетов.

Вопреки установившемуся стереотипу, партия народной свободы выражала интересы либеральной российской интеллигенции. В последующем накале политических страстей кадетам были приписаны деяния, которых они не совершали, и помыслы, которые ими не владели. Идея конституционной монархии, которой придерживались до марта 1917 года кадеты, означала лишь то, что нельзя прыгать через этапы истории, и совсем не говорила о желании абсолютной монархической власти — нелепость такого обвинения ясна была 80 лет назад, но, увы, скрыта для нашего современника.

Все основные положения партии народной свободы разделялись В. И. Вернадским, одним из ее организаторов и деятельнейших членов Центрального Комитета. Но после раскола партии в 1918 году, когда часть ее членов заняла прогерманскую позицию, и особенно после эмиграции большинства кадетов к 1921 году, В. И. Вернадский не счел возможным вернуться к их поддержке. Характерным является его отказ от участия в собрании кадетов в Париже, где он был в командировке от Академии наук с лекциями по геохимии.

В советское время В. И. Вернадский отошел от политической деятельности. Немаловажную роль в его решении сыграли события ноября 1917 года, когда за арестами кадетов — членов Учредительного собрания — последовал декрет большевистского правительства от 28 ноября (11 декабря) 1917 года, объявивший кадетов врагами народа и фактически поставивший членов ЦК партии вне закона.

Но, даже не принимая политику большевиков, В. И. Вернадский продолжал трудиться на благо России, своего народа. Теперь акцент в его общественной деятельности сместился в сторону организации науки в стране и академической работы.

Помимо общественно-политических статей, перу Вернадского-публициста принадлежат работы, посвященные проблемам развития науки, памяти многих русских ученых, научно-публицистические статьи. Мы предлагаем вниманию читателей две статьи В. И. Вернадского «Три решения. Мысли из жизни» (Полярная звезда, № 14, 19 марта 1906 г.) и «Об автономии» (Свободный народ, № 4, 4 июня 1917 г.), дающие представление о литературном наследии выдающегося русского ученого.

из наследия земца

В. И. ВЕРНАДСКИЙ

ТРИ РЕШЕНИЯ

Никогда на памяти живых людей вопросы общественной этики не становились перед нами с такой силой и яркостью, с какой они стали ныне, во времена смуты и анархии. В эпоху, когда государственная машина совершенно расстроилась, когда отдельные ее части стали действовать независимо, когда кругом крупные и мелкие агенты власти открыто и на глазах всего мира творят величайшие преступления — убийства, грабежи, поджоги и насилия, когда восстанавливается пытка. — в эту эпоху анархии перед каждым отдельным гражданином вопросы общественного долга и общественной нравственности встают во всем своем величии, настойчиво и властно требуют ясного ответа, требуют действия. Никто не в силах и не может спокойно и холодно закрыть глаза, пройти мимо. Всякий чувствует себя частью целого. Не холодным рассудком и не привычкой подражания создается и поддерживается в эту эпоху гражданское чувство общественности. Оно охватывает человека на всяком шагу, оно родится в крови, в пожарах и страданиях, оно подымается в народном движении. ⟨...⟩

Что делать? Как быть? Как найти применение поднявшемуся чувству гражданственности? Как вывести страну из тяжелого кризиса? Что делать для этого отдельной личности? Вот те вопросы, ответа на которые жизнь требует на каждом шагу, забыть которые она никому не дает, от решения которых она никого не освобождает.

Для одних выход из кризиса заключается в *идеализации прошлого*. Страна вернется к спокойствию, жизнь пойдет нормальным развитием, когда уляжется революционная буря, когда нарушенная ею прежняя государственная жизнь восстановится, в общем, во всей целости и неизменности или с некоторыми поправками. Прежние цели и задачи государственного бытия должны сохранить свое неизменное значение: внешнее могущество, сильная армия и сильный флот, рост государственной территории, рост средств, находящихся в руках правительства. Дальнейшее территориальное расширение и неуклонное претворение в единое целое захваченных племен и народов должны давать работу государственной машине. Государство, отождествляемое с правительством, должно быть признано тем благом, которому приносится все в жертву, перед которым стираются интересы отдельных личностей, исчезает личная инициатива. Вековая работа создания сильного единообразного государственного целого должна и впредь неуклонно идти по тому же самому пути, по которому так долго совершалось развитие Российской империи. Перед этой целью все остальные интересы, как бы жизненны они ни казались отдельным лицам или группам населения, имеют значение лишь побочных, вторичных государственных задач; они могут иметь значение лишь постольку, поскольку они не мешают выполнению основной цели государственного бытия. Интересы народа и человеческой личности растворяются в интересах государства и правительства. Сами по себе они не имеют значения с точки зрения общественной этики. Для возвращения страны в ее нормальное русло должны быть направлены все силы, употреблены все испытанные орудия государственного строительства, хотя бы они были связаны с народным мучением. Благо государства — великая идея целого — должна дать им оправдание, вызвать и определить народное терпение. В эпоху кризиса эти орудия должны быть усилены, каждый мыслящий гражданин должен им содействовать всеми мерами. Это старые испытанные силы: силы войска, полиции, цензуры, бюрократии, силы государ-

ственной церкви. Рамки для деятельности сторонников старого режима готовы: надо войти в них, идти по указанным путям, и нет для них нерешенного вопроса, как быть, как выйти стране из тяжелого кризиса. Есть лишь один вопрос, будящий у них гражданское чувство. Достаточны ли эти средства в их обычном развитии? Могут ли они побороть народное волнение, грозящее разрушить вековые устои общественной, государственной деятельности? И если они недостаточны и не в силах побороть поднявшееся волнение, то что же делать людям, идеалы которых тесно связаны с развитием и продолжением прошлого, старого строя русского государства? Путь их ясен и требует только *дерзания*. В эпоху кризиса Salus reipublicae suprema lex. Все средства дозволены, когда надо спасти погибающее великое целое. Нужна лишь последовательность в проведении мер, неуклонность и решительность. Наряду со старой организацией бюрократического государства должна в помощь ей стать подвижная патриотическая организация граждан, защитников старого. И мы видим, как неуклонно и фатально идет развитие в этом направлении. Расходы на полицию и на войска для подавления внутреннего брожения растут с колоссальной быстротой и совершенно не сообразуются ни с какими финансовыми расчетами. Создаются черные сотни. Они проводят проскрипции, убийства, грабежи своих политических противников и их семей. Власть вступила на путь террора, и количество жертв, павших в эти последние месяцы, во много превысило печальную работу до сих пор памятных революционных трибуналов Франции конца 18-го столетия. Мы пережили и переживаем казни более жестокие или по крайней мере равные тем, какие пережиты были современниками Террора. Расстрелы и убийства, совершенные Мином, Риманом, Ренненкампфом, Орловым, Меллер-Закомельским и др. героями Остзейского края, Закавказья, Сибири, Москвы, Тамбовской губ., ежедневно происходящие в разных углах нашего отечества, соперничают с самыми кровавыми подвигами революционных фанатиков и убийц далекого прошлого, пережитого французской нацией. И если в этом отношении можно еще пока сравнивать работу современных защитников старого режима с трудами якобинских террористов, то в области политической полиции они не имеют соперников. Массовые и тысячные аресты и проскрипции, уже совершенные министерством Витте-Дурново и его помощниками, единственны в мировой истории последних ста-полутораста лет. Едва ли где произвол достигал таких размеров, считал столько жертв, вызывал столько подавленного негодования и будил столько стремления к отомщению, как это он делает теперь, в России, на наших глазах. Мы переживаем в 20-м столетии явление более страшное и ужасное, чем деятельность французских террористов 18-го века или неаполитанских Бурбонов 19-го столетия. И если все же эти удары падают бессильно, не достигают цели, то только потому, что великое народное движение, какое охватило всю Россию и захватило и нас, сильнее их и во много раз могущественнее. Оно явно не может быть остановлено такими примитивными, хотя бы жестокими и ужасными средствами.

Идеологи прошлого — если они хотят его возвращения — не могут действовать иначе. Террор и все ужасы, его сопровождающие, для них неизбежны, логически правильны. Для них одна надежда, надежда на то, что они раздавят движение и затем на чистой обновленной почве будут строить дальнейшее созидание государственного могущества. Могут ли они это сделать? — Вот вопрос. Не подорвут ли они в случае успеха все живые силы страны?

К этим мрачным фанатичным сторонникам старого примыкают все те, материальные интересы которых связаны со старым или кажутся им с ним связанным. Они цепляются за шатающиеся формы отживающего режима, поддерживая их своим пассивным содействием. На них, так же, как на идейных сторонников старого, должны лечь все последствия жестокого, но неизбежного террора, и неизвестно, не дрогнет ли их сочувствие, долго ли они будут в состоянии основывать свое благополучие на крови, страданиях и насилии?

Другая группа лиц ищет практических политических указаний в тех *или иных формах мыслимого будущего*. Она считает неизбежным для спасения страны и для достижения умиротворения полную реконструкцию общественных отношений. Чем полнее и глубже будет произведена эта перестройка, чем быстрее она совершится, тем больше счастья будет внесено в человеческую жизнь, тем сильнее уменьшатся страдания народных масс. Народные массы впервые за многие столетия почувствовали в себе человека; крайние левые партии открыли перед ними заманчивые картины лучшего мыслимого будущего, они забросили в их среду веру в достижимость справедливого распределения материальных и умственных благ, в возможность полного его осуществления в немногие годы или месяцы. Народные массы заволновались, народная мысль пришла в брожение, и на историческую сцену русского государства выступил народ, как в давние времена государственного строительства. И с неслыханной силой выдвинулись вперед его интересы, его тяготы, его желания — перед ними дрогнула и поблекла громада старого государственного идеала.

Нигде в цивилизованном мире нет таких ужасных, нечеловеческих условий существования, какие царят в России, в каких живет большинство русских граждан. В сложной конструкции русской общественной жизни соединились вместе все самые тяжелые стороны как современного капиталистического строя, так и старинного государственного устройства, где народные массы несут лишь служилое тягло, где они являются рабской безличной основой государственного благополучия. На русский народ выпала фатальным ходом истории доля двойной тяготы: бесправие, полная подчиненность государству, самые элементарные нарушения прав личности, отнятие в пользу государства на чуждые цели внешнего могущества главной части народного труда — соединились с захватом в пользу меньшинства источников народного богатства, с эксплуатацией его труда, тесно связанной с основными условиями современного строя. В тяжелую минуту кризиса надо было сбрасывать двойные цепи, и многим кажется и казалось, что в эту эпоху одним ударом можно снести основы старого строя и заменить их новыми, которые дали бы человеческое существование порабощенным классам и слоям русского государства. Опыт государственной жизни более современных организаций человечества, вековая работа теоретиков и программы социалистических партий Запада дали готовые формулы, дали идеи и указания, применение которых кажется этим защитникам интересов народных масс легко и просто осуществимым.

Новый государственный идеал поставил задачей государственной политики благополучие массы населения, теперь обездоленной и приниженной, отдельных классов, ее составляющих. Для того, чтобы провести этот идеал в жизнь, необходим — по мнению русских «социалистических» партий — захват власти и, как практически неизбежный переход к будущему идеальному строю, временная диктатура тех классов населения, в интересах которых должен быть *перестроен* государственный и общественный строй, диктатура пролетариата или крестьянства. Достигнуть этого, как всякой диктатуры, можно только силой, путем вооруженного восстания или террора. Введение элементов насилия с этой точки зрения неизбежно. Ибо только тогда программа крайних групп русского общества получает практический смысл, перестает быть идеологическим созданием мечтателей. Жизнь требует в настоящее время действия, а не мечтания. В эпоху кризиса выступают вперед практические средства врачевания, а не теоретические диагнозы болезни. Вооруженное восстание и революционный террор выступили вперед; явились попытки их осуществления. Эти попытки столкнулись с военной и полицейской силой, созданной вековой государственной практикой, они столкнулись с жизненными интересами более зажиточных и интеллигентных слоев русского общества, не могущих идти навстречу диктатуре, т. е. порабощению, не желающих менять одного господина на другого. Они столкнулись с неподготовленностью народных масс, с

малым распространением и пониманием среди них тех идей, которые должны были быть положены в основу нового строя. И наконец они разбились об отсутствие государственной мысли, государственного творчества в среде носителей этих идей, ярко выразившимся, например, в отсутствии практически осуществимой и разработанной аграрной программы, основанной на выставленных этими группами русского общества теоретических принципах. Террор и вооруженное восстание кончились полным крушением. Настаивая на немедленном проведении сразу своих программ, фатально и неизбежно эти партии будут идти к повторению подобных попыток. Будут ли эти новые попытки удачны — вопрос. Не осуждены ли они на полную неудачу, ибо наличность условий, приведших к их неудаче, ни в чем не уменьшилась, и, наоборот, она даже усилилась, так как нет той веры, которая сопровождала первые проявления движения? Не приведут ли они в конце концов к бесцельной гибели живых сил русского народа, к торжеству темных сил реакции? Не работают ли они в конце концов pour le roi de Prusse, на пользу идеологов прошлого? Сложны обстоятельства жизни, и трудно учесть будущее. Трудно представить себе, как долго будет слепо следовать значительная группа народных масс за вождями, выходящими из этих слоев русского общества, как долго она будет давать кадры для вооруженного восстания. Трудно учесть, как долго будут находиться фанатически настроенные отдельные личности или кружки, способные на самопожертвование для террора. Все зависит от хода истории, т. е. находится в области разнообразных возможностей. Все определяется прежде всего тем, приобретут ли в русском народе и обществе силу и значение сторонники третьего ответа на великий вопрос, поставленный нам общественной этикой. Этот третий ответ дается *людьми настоящего.*

Идеологи прошлого и мечтатели будущего не охватывают всего содержания, какое может вылиться в нормы общественной этики. Ни те, ни другие не учитывают сложности жизни, заменяют ее схемами и построениями. Но глубоки тайники жизни, и тщетной утопией было бы искать одного ответа на ее запросы. Нельзя единообразно определить нормы отношения личности к совершающимся событиям; ответов на этот вопрос можно дать много; их должно быть несколько. Только при одновременном существовании и при борьбе различных ответов, даваемых разными политическими программами, выкуется в конце концов правильное решение. Каждая программа заключает всегда большую или меньшую долю истины; лишь их борьба и состязание дадут жизненно правдивый ответ. Он неизбежно будет более сложен, чем простая схема или создание мысли отдельной личности или группы. Коллективная жизнь требует коллективного решения. Много позже правильный смысл событий, суд истории может быть уловлен ученым исследователем, но он всегда недоступен современникам.

Каждый человек должен искать своего ответа на запросы жизни. Он сам должен дать его, сам своим усилием ввести его в общую суммарную работу человечества. Долгие годы работа политической мысли политических граждан могла учитываться в русской истории крайне слабо, неполно и отрывочно, проходила без всяких практических результатов. Рамки полицейского военного государства давили личную инициативу, не давали сплачиваться единомышленникам. Русская политическая мысль была далека от политической деятельности. Она привыкла не считаться со сложностью жизненных отношений, не проходила через горнило действительности. И если политическая мысль не замерла, а была лишь изуродована — то политической деятельности в русском обществе не было вовсе. Русское общество привыкло к разброду, в лучшем случае — к кружковщине.

Все изменилось сразу и навсегда с началом государственного кризиса. Он призвал к действию тех русских людей, которые ненавидели прошлое, но не верили в жизненную правду фантазий и схем далекого будущего. Они хотели создавать настоящее, искать реальных выходов в государственной и общественной жизни современности. К ним пристали широкие слои безразличных групп русского народа и общества. Разно понимают они цели, задачи, средства ближайшего будущего. К разным идеалам хотят направлять государственную жизнь. Среди них есть индивидуалисты, социалисты, анархисты, сторонники буржуазного строя и его горячие противники, сторонники равенства и приверженцы классовых или прирожденных различий — вся бесконечная гамма оттенков, отвечающих сложной форме политической мысли данного времени. И все же у всех этих людей есть общее. Оно соединяет их в одну группу, несмотря на взаимное недоверие, вражду и ненависть. Это общее есть форма их деятельности. Она сводится к политической организации народа. В государственной жизни эта форма деятельности — какие бы цели она ни преследовала — получает исключительное значение, ибо она приводит этих разных далеких людей к одной коллективной работе. На больной вопрос общественной этики, что должен делать отдельный человек для того, чтобы помочь стране выйти из бедствия, чем он может помочь общей беде, у всех у них ответ один: он должен войти в политическую партию, он должен участвовать в ее работах, в ее деятельности.

В конечном результате совместной работы всех партий получается политическая организация народа, та сила, которая в конце концов совершенно реорганизует государство, придает ему новую форму, в которой задачи и цели государственной политики определяются волей организованного народа. Эта воля через посредство борьбы политических партий даст решение всем назревшим вопросам государственной жизни, выведет страну из тяжелого кризиса и анархии. И сделать это может она одна. Чем энергичнее будет организация партий, чем шире она охватит русскую жизнь — тем скорее и полнее прекратится анархия.

Таким образом в настоящую великую и ответственную минуту народной жизни выяснились три ответа на вопрос об обязанностях и нормах поведения отдельного русского гражданина. Один ответ требует от него энергичного и безусловного подавления всего освободительного движения. Другой — налагает на него обязанность участия в вооруженной борьбе с правительственной машиной старого государства. Наконец, третий приводит к энергичной работе над политической организацией народа, к работе в политических партиях. Только этот третий ответ исключает возможность истощения народных сил, т. е. государственную гибель, которая существует при победе как идеологов прошлого, так и мечтателей будущего.

Иных решений русская жизнь не дала и едва ли может дать. Как ни различны и ни противоположны эти три решения, каждое из них с точки зрения этики дает оправдание людям, пошедшим по указанным ими путям, посвоему каждый из них исполняет свой долг, каждый из них вносит сознательность в свое поведение, дает посильный ответ на выдвинутые жизнью вопросы.

Казалось бы, все русское общество — все его сознательные элементы должны были бы быть захвачены в рамки этих трех различных норм общественного поведения, раз других типов не выработали. А между тем, близко присматриввясь к окружающему, мы видим существоавние в стране огромных слоев русского общества, которые остались в стороне от этих группировок, находятся между ними, колеблются в искании верного пути. Как могут оправдать эти люди свое поведение с точки зрения общественной этики?

Об автономии

Среди множества новых понятий и новых слов, входящих в жизнь, получило значительное распространение в последнее время и слово «автономия», в частности автономия отдельных частей нашего государства.

Важно и необходимо, чтобы понимание автономии, стремление к местной автономии проникло возможно глубоко в сознание русского народа. Это необходимо в России, где живут рядом сотни народов и племен и где так различны в разных местах условия жизни — в холодных пустынных областях нашего севера на берегах Ледо-

витого океана, в горах Кавказа, в степях чернозема, на берегах теплого Черного моря или на границах Монголии и Маньчжурии, во многом чуждом русскому европейцу Приамурье.

Различны условия жизни в этих местах и нельзя всю эту жизнь всегда направлять издалека, из столицы, Петрограда или Москвы. Нельзя даже тогда, когда в этой далекой столице будут заседать выборные люди этой местности вместе с выборными всей русской земли. Они хорошо это сделать не смогут, ибо правильно понять все нужды своей местности, правильно решать все вопросы, которые в ней ставятся жизнью, могут только одни местные люди. В их руках должна быть сосредоточена власть решать местные дела или должна быть дана широкая свобода управлять местной жизнью. Подобно тому, как их выборные люди совместно с выборными всей России в Петрограде, в *парламенте* (Госуд. думе), могут издавать законы для всей России, выборные одной какой-нибудь области, напр. одной губернии, собравшись на *сейм* в губернском городе, должны получить право издавать для своей местности, напр. губернии, *местные законы*. Конечно, эти законы не могут касаться всех областей жизни; пределы, в которых местные сеймы могут издавать законы, гораздо уже, чем пределы законодательства парламента, но они однако же также должны быть нерушимы, как пределы законодательства парламента. Парламент, напр., Государственная дума, не может издавать законы в тех частях, какие предоставлены местным сеймам. Сейм не может издавать законы в областях жизни, которыми ведает Дума. Пределы законодательства должны быть определены основным законом — Учредительным Собранием и могут меняться лишь законодательным путем Государственной думой при согласии местного населения.

Право издания местных законов является основным признаком местной автономии; оно отличает ее от местного самоуправления, широкое развитие которого мы видим в нашем земстве. Земская губерния не обладала местной автономией и введение местной автономии коренным и очень глубоким образом меняет местную жизнь. Если местная автономия будет усиливаться, пределы местного законодательства будут расширяться и влияние сейма на управление автономной областью будет расти — автономная область может почти незаметно перейти в *штат*, а государство с широкой местной автономией своих областей превратиться в *федерацию*.

В России необходимость предоставления отдельным ее частям широкой местной автономии не только связана с различием условий жизни ее населения в разных ее частях. Помимо различия природы нашей страны и ее население очень различно. При правильном развитии автономии отдельные народы, не разрывая своей связи с целым, со всей Россией, получат такую свободу национальной жизни, которую они никак не могут получить в централизованном государстве. Поэтому желательно, чтобы области провинциальной автономии совпадали с областями сплошного по возможности населения одной национальности. Однако, это достижимо только для небольших национальностей. Для крупных национальностей, напр. для великоруссов или украинцев, неизбежно будут существовать много украинских или великорусских автономных провинций, ибо трудно и едва ли возможно построить прочное и сильное государство из равных по своим правам автономных областей, резко отличающихся по своим размерам.

Сейчас в России нет автономных областей. Старый царский режим сдавливал местную и национальную жизнь и не давал ей развиваться. Но новая Россия и особенно республиканская Россия едва ли может найти формы жизни, совместные с свободой ее граждан без широкого развития местной автономии отдельных областей Российской республики.

Эти основы провинциальной автономии были на последнем девятом съезде партии Народной Свободы включены в ее программу и должны теперь проповедоваться ее работниками.

Публикация Ан. КОСОРУКОВА и В. НЕАПОЛИТАНСКОЙ.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

НА БАТАРЕЯХ ПОРТ-АРТУРА

Глубоки корни жанра жизнеописания в нашей литературе. Далеко не случаен большой успех научно-художественных биографий. В молодогвардейской серии «ЖЗЛ», ставшей значительным явлением нашей литературы, еще в самые «застойные» времена начали появляться книги, несущие вопреки всему свет подлинного исторического знания, рассеивающие ту удушливую пелену фальсификаций, которая представляла всю историю России одним безотрадным «темным царством». Выделялись и военные биографии А. В. Суворова, А. А. Брусилова, С. О. Макарова, созданные О. Михайловым и С. Семановым.

Продолжает эту традицию исследование Сергея Куличкина о генерале Р. И. Кондратенко. Книга эта с особенным интересом читается сейчас, когда продолжается полемика о судьбах армии, уводящая порой довольно далеко.

Подвиг генерала Кондратенко многим известен по снискавшему широкую известность роману А. Степанова «Порт-Артур». Фактический руководитель одиннадцатимесячной обороны дальневосточной крепости, которая сковывала лучшие части японской армии, понесшей огромные потери, Кондратенко стал подлинным национальным героем. Последний путь поезда с телом генерала от Одессы до Александро-Невской лавры в Петербурге в сентябре 1905 года стал свидетельством всенародного признания.

Немало места в книге С. Куличкина уделено становлению Р. И. Кондратенко как военного деятеля. Читателю будет интересно узнать в деталях систему подготовки офицерского состава русской армии, ведь будущий генерал последовательно прошел все ступени офицерской карьеры. Кадет Полоцкой военной гимназии, юнкер Николаевского военного училища, выпускник Николаевской инженерной академии и академии Генерального штаба... Становится яснее, благодаря чему многие офицеры составили цвет литературы и науки. Широк был и круг интересов Р. И. Кондратенко — знатока отечественной словесности, незаурядного инженера, статистика, изобретателя.

Нет ныне необходимости умалчивания вопросов, связанных с религией. Походные иконы имелись, как известно, в войсках и Дмитрия Донского, и А. В. Суворова, и М. И. Кутузова... Постоянно посещал храм, участвовал в солдатских праздниках и службах и Кондратенко.

В книге С. Куличкина нет идеализации армейской действительности, куда неизбежно проникают болезни зараженного общества. Пьянство и карты гарнизонной службы, узость кругозора части офицеров, наконец, разгул «хозяйственной банды» интендантов, с которой постоянно сталкивался командир роты, батальона, полка и бригады правдолюбец Кондратенко. Поляризация здоровых и разрушительных сил особенно обостряется в дни предельных испытаний. Так это было и в Порт-Артуре. Героизм солдат и матросов, суворовская выучка ряда офицеров, объединившихся вокруг Кондратенко, и совсем иное поведение других — А. Стесселя, А. Фока, В. Рейса, В. Смирнова, дошедших до прямого предательства. Характерно глумление некоторых тогдашних газет над «грязным тифозным солдатом», смакование тем о «холуйской смеси злобы и зависти», «рабской душе и животной покорности» русского мужика. Кстати, сдавший после гибели Кондратенко крепость японцам А. Стессель не скрывал своего мнения о том, что «с русским солдатом, этой сволочью, нужно уметь обходиться. Он ничего не понимает, кроме кулака и водки». Поневоле вспоминаются слова современного публициста К. Раша: «Нападки на армию начинаются всегда, когда хотят скрыть и не трогать более глубокие пороки общества. Чаще всего неприязнь к армии проистекает от нечистой совести и страха перед службой и долгом».

А. Т.

Куличкин С. П. КОНДРАТЕНКО. — М.: Мол. гвардия, 1989.— (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.)

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Бердяев Н. А. ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ; СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА Вступ. ст., сост., подгот. текста Л. В. Полякова. — М.: Правда, 1989. — 607 с. — 2 р. 50 к. 35 000 экз. — Прил. к журн. «Вопросы философии».

Соловьев В. С. СОЧИНЕНИЯ: В 2-х т. / Вступ. ст. В. Ф. Асмуса; Сост., подгот. текста Н. В. Котрелева. — М.: Правда, 1989. — (Из истории отеч. философ. мысли). — Прил. к журн. «Вопросы философии».
Т. 1. 687 с. — 2 р. 50 к. 35 000 экз.
Т. 2. 735 с. — 2 р. 50 к. 35 000 экз.

Чаадаев П. Я. СТАТЬИ И ПИСЬМА / Сост., вступ. ст. Б. Н. Тарасова. — 2-е изд., доп. — М.: Современник, 1989. — 623 с. — (Любителям рос. словесности, Из лит. наследия). — 3 р. 10 к. 150 000 экз.

ЛИТЕРАТУРА

*Стихи.
Повесть.
Эссе.*

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Предлагаем конкурс, пятеро победителей которого получат приз — одно из изданий Пастернака. Надо правильно и полно ответить на наши *вопросы*. Итак:

1. Б. Л. Пастернак учился музыкальной композиции и даже получил признание у Скрябина. Какое из трех его законченных произведений было издано!

2. «Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона». В каком произведении и по какому поводу сказаны Пастернаком эти слова!

3. Летом 1943 г. в составе писательской бригады (А. Серафимович, К. Федин, Вс. Иванов, П. Антокольский и др.) Пастернак предпринял поездку в действующую Третью армию, освободившую Орел и города Орловской области. Какие очерки и стихотворения явились итогом этой поездки!

Ждем ответов.



Борис Пастернак. Переделкино. 30-е годы. Фото писателя И. Ильфа.

к 100-летию со дня рождения Бориса Пастернака

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ВЕЧНОСТЬ

Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь, послужившую началом переписки; мы родились с ним в один и тот же день месяца, только он на девять лет позже меня.

Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. С этого и началось. Начался странный, заочный, краткий «роман».

15 марта 59-го г. он ответил мне: «Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать... как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверно никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой наверно нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам». Ему «чрезвычайно дорого», что я говорю о его книге, но «что бы Вы ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью». «Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собою и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю»...

Его письма ко мне получали здесь большой отклик. Их всегда просили читать вслух. По этому поводу я написал ему о Петрарке. Письма Петрарки из Авиньона во Флоренцию друзьям считались там событием. Получавший созывал друзей, устраивал обед, потом читалось письмо — десерт высокого тона. Разбойники под Флоренцией, грабившие купцов с севера (они-то и возили письма), очень ценили, если в добыче попадалось письмо Петрарки — дорого можно было продать.

Это мое письмо о Петрарке, видимо, пронзило его. Но ответа я не получил — ответное письмо не дошло. Что оно не дошло, видно из его письма к моей дочери. («Мои восторги пропали по дороге») — да, очевидно, он-то получил и ответил со свойственной ему очаровательно-детской восторженностью, но, вероятно, начальство решило, что это уж слишком — писать так эмигрантскому человеку.

Переписка все-таки продолжалась. В письме от 4 октября 59-го г. он пишет о своей пьесе; «Пожелайте мне, чтобы непредвиденное изане не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким я подходил к пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти.

«Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным».

В последнем письме, февральском, 1960 г., он меня поздравляет со днем рождения. Та же горячность и нежность. Та же детски-открытая душа. (Недаром Ахматова говорила о нем, что он вечно будет молод. Да, он был молод душевно, с большим темпераментом, несомненно. И гневался иногда. И бурно. Как тяжко таким натурам жить под ярмом!)

И вот что еще он пишет в предсмертном письме: «Все это» (Мои книги. Я ему посылал, они доходили.) «попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы, которой порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле... слова и дела».

...«Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки». (Дело идет о пьесе.)

* * *

Не знаю ничего о судьбе этой пьесы. Не знаю даже, окончена ли она. Вернее, что нет. Знаю, однако, что размах ее огромен, кажется, это триптих.

Жизненную же драму знаю и пред нею почтительно, с грустью склоняюсь.

Да, «баснословный» год. Менее чем через три месяца после февральского письма, 30 мая 1960 г., Борис Леонидович скончался. Для советской власти довольно удобно: неудобный писатель с мировой славой, стоявший поперек горла, ушел. Ну, что же, травили человека, травили после Нобелевской премии, потом лечили, лечили, он и умер. Все в порядке. Осталась могила, горе близких. У меня под иконой пучочек овса с этой могилы. И где-то рукопись пьесы.

Начинается вторая часть драмы. Передо мной фотография, очень хорошая: Пастернак стоит под каким-то деревом, слегка наклонив голову, щурясь, но невеселый. Под руку (правую) держит его русская дама, в кофточке, довольно полная, улыбаясь — улыбкой любви. Слева совсем юная девушка, с приятным русским лицом, тоже держит под руку, глаза тоже улыбаются, прелестно. Вся она — юность и привлекательность.

Эти двое — Ольга Ивинская и ее дочь. Та Ивинская, в чьи «жадные и дорогие мне руки» попали мои книги, прежде чем Борис Леонидович начинал их читать. Это Лара «Доктора Живаго», все ясно. Это ее детей (она вдова), Ирину и Дмитрия, опекал Пастернак, когда она сидела в тюрьме при Сталине, а они были еще детьми. Это она, Ольга Ивинская, трепетала за него, когда после Нобелевской премии шавки советской не-литературы лаяли на него, кричали, что он хуже свиньи. Это о ней он сказал, что ей «порядком за меня в жизни достается и досталось».

И предчувствием томился. Слова «достанется» не прибавил, но тревожился очень. Теперь лишь из гроба мог бы увидеть, как судили ее и осудили, Ирину тоже. Подло судили, при закрытых дверях — осудили на восемь лет мать, дочь — на три года. Виновата мать в том, что Серджио Анджело, бывший итальянский коммунист и сотрудник издателя Фельтринелли, через Ивинскую передал Пастернаку деньги из его западных гонораров — и в июле 1960 г. по прижизненной просьбе самого Пастернака некую сумму для нее самой. Ее подвели под 15-ю статью (контрабанда оружием, взрывчатыми веществами, наркотиками и т. п.). А дочь? Дочь упекли за то, что знала и не донесла на мать. Ирина, выслушав приговор, упала на суде в обморок. (Перед этим ей уже поднесли милый подарок: за несколько дней до свадьбы выслали из России молодого француза, ее жениха.)

* * *

Да, фотография эта — Пастернак между Ольгой и Ириной, пронзает. Борис Леонидович в родной земле — да будет она ему легка. А память о нем, добрая и благодарная, иногда и восторженная, на родной этой земле, столько горестного ему причинившей при жизни, надолго останется. Не вечно будет там и полицейский участок. «Доктор Живаго» — лучшее Пастернака произведение с пророческим стихотворением «Август». (При жизни описал свои похороны так, как они и произошли. И с Ларой при жизни навсегда простился.

«Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
«Я — поле твоего сраженья».)

Господь избавил его от зрелища ее последней Голгофы, и Ирининой.

Глядя на них обеих, беззащитных и томящихся теперь «где-то», испытываешь даже смущение. Неловкость какую-то за собственную свободу. Вот ты живешь, ходишь, чувствуешь, любишь, страдаешь, но ты на свободе и в условиях жизни человеческих. А они? Да пошлет им Бог сил. Как написано на одной колокольне скромного итальянского местечка близ Генуи.

— Dominus det tibi fortitudinem.

* * *

Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность. Три сосны над его могилой все так же шумят в московском ветре. Зимой бюст его будет поставлен на могиле.

И вот все вспоминаешь его — значит, человек обладал тайной прельщения. Почему два раза вслух прочитан «Доктор Живаго» и после него многое кажется серым, неинтересным? Это и есть загадка власти. Ибо нет художника без власти. Только власть эта не навязана, никто

не грозит ею, не ведет в участок, а сама она — незаметным образом овладевает. Тютчева никто мне не приказывал ценить, а вот сам он вошел в меня, без окриков, и уж не уйдет.

В рассказе о последних днях Пастернака супруга его передала журналисту, что более всего жалел он, умирая, что не сможет более писать. Писатель, узнаю тебя! Наша болезнь неизлечима. Узнаю и молодость твоего духа, хоть бытие твое достигло уж библейского предела. («Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти...»). Пастернаку шел восьмой десяток, но в самом начале. Его Живаго, доктор, кажется старше автора (внутренне), более печален и разочарован. (В Москву он возвращается из тайги уже разбитым кораблем). Усталости, печали в самом Пастернаке по его письмам не чувствуешь. Страдал он в жизни много, бурно, но никакого равнодушия и дряхлости к зрелым годам не нажил. Этой зимой близкий мне человек видел его в Переделкине — по его рассказу, Пастернак был очень оживлен и бодр.

А литература и искусство глубоко, крепко в нем сидели. Думаю, именно по горячности своей и нездравому смыслу молодости водил он некогда компанию с Маяковским, размахивался и в революцию — что-то ему нравилось во всем этом. Но наступила и расплата. Сам казнит он себя незадолго уже до кончины. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить»... «Везде бросались переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды».

«Моя жизнь далеко не гладкая... — меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают, — выразимся мягко... — неожиданности. Но среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение».

Судит он свою молодость преувеличенно, строгость жесткая, но насколько же лучше это самолюбования и охорашивания перед зеркалом. В нем этого не было, хотя славу, вернее — любовь людей он все-таки любил... — но это так по-человечески! «Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века... книгу читали, кто на других языках, кто в оригинале». «Как все сказочно, как невероятно!»

Поражает его изгиб собственной судьбы: «И только этот баснословный год открыл мне... душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о Фаусте написал я по-немецки по запросу из Штутгарта, где есть Faust Gedenkstatte (место рождения исторического Фауста), и по-английски о Рабиндранате Тагоре (совсем не восторженно) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта, и в Италию. И стало легче. Но как это все странно, не правда ли? Оказывается, можно и думать». То есть, думать, как самому хочется, как думается, а не как велят. «Я послал Вашей дочери Фауста. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам собственного предисловия. А может быть только для этого я переводил Гёте, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом и как! Всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... «работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело только подбирать рифмы».

Да, и Лозинскому, переводчику «Божественной комедии», в России, пришлось соседствовать с предисловием, где Маркс и Энгельс одобряют поэта и дают ему «путевку» в советское издательство. Для Данте понадобились Маркс и Энгельс, а для Фауста в переводе Пастернака пришлось объяснить читателям, во введении, что слово Бог, часто встречающееся в поэме, надо понимать не в том смысле, какой оно имеет, а в особом (смысле «чисто пикквикийском» — Б. З.), т. е. Бог собственно и не Бог, а что-то вроде «силы социальных отношений».

Судьба Пастернака одна из самых удивительных в литературе нашей — с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине (отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов), высидеть годы в одиночестве Переделкина, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных — от «своих» получать заушения как раз в этом 1959, «баснословном» для него году.

Пастернак был человек сильный. Все-таки, такая травля дней не прибавляет. Что же, своего добились. Дни сократили. «Баснословный» год, год мировой славы оказался и последним. Полицейские от литературы могут быть спокойны: Пастернака нет. Вот уже полгода покоится он в родной земле жестокой родины. Превосходные фотографии (иностранные!) запечатлели нам его похороны, и его лицо в открытом гробу — лицо приняло особую, высше-торжественную красоту. Гроб окружен любящими, любящие несут его на плечах за версту с чем-то на кладбище, в том же открытом гробу, как носили в русской деревне покойников в моем детстве. Русские лица, русские лесочки, березы, мимо которых проходит процессия, русский деревянный мостик, столь убогий в простоте своей — но по нему переходит лента людей благополучно — тысяча с чем-то: все это пронзает. Медленно, но в любви и без серпа и молота подвигается Пастернак к Вечности.

* * *

Из Москвы прислали моей жене два снопика овса, совсем маленьких, с могилы Пастернака. Оба они лежали у нас под иконами, славные знаки памяти и любви: наш Пастернак, наша земля взрастила его, как и этот смиренный, иссохший овес.

И вот нас посетила иностранка, переводчица и поклонница Пастернака, графиня Пруаяр. Жена передала ей снопик. Та обняла ее и поцеловала. Французские глаза так же наполнились слезами, как заполняются и русские. И это хорошо. И это радостно. Франция прижала к сердцу бедный снопик русского овса и унесла его как память, как знак любви.

1960—1961

К ЮБИЛЕЮ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

1989 год

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 5 т. — М.: Худож. лит. Т. 1 — стихотворения и поэмы; Т. 2 — ранняя проза. — По 300 000 экз.

ДОКТОР ЖИВАГО. — М.: Советский писатель. — 200 000 экз.

ДОКТОР ЖИВАГО. — М.: Книжная палата. — 300 000 экз.

ДОКТОР ЖИВАГО. — М.: Советская Россия. — 100 000 экз.

ДОКТОР ЖИВАГО. — Куйбышев: Кн. изд-во. — 150 000 экз.

ДОКТОР ЖИВАГО. — Сухуми: Алашара. — 120 000 экз.

ОХРАННАЯ ГРАМОТА. Шопен. — М.: Современник. — 1 500 000 экз.

ОХРАННАЯ ГРАМОТА. — Саратов: Изд-во Саратовского госуниверситета. — 20 000 экз.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. В 2-х т. — М.: Советский писатель (Б-ка поэта. Большая серия). — 10 000 экз.

СТИХОТВОРЕНИЯ. Поэмы. Переводы. — Пермь: Кн. изд-во. — 200 000 экз.

СТИХОТВОРЕНИЯ. Проза. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета. — 75 000 экз.

1990 год

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 5 т. — Худож. лит. — Т. 3 — ДОКТОР ЖИВАГО; Т. 4 — проза, драматургия; Т. 5 — письма и автобиографические заметки. — По 300 000 экз.

Об искусстве: «ОХРАННАЯ ГРАМОТА» и заметки о художественном творчестве. — М.: Искусство. — 50 000 экз.

СТИХОТВОРЕНИЯ. — М.: Молодая гвардия. — 300 000 экз.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. — М.: Современник. — 100 000 экз.

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. Переводы. — М.: Правда. — 500 000 экз.

СТИХИ. — Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во. — 50 000 экз.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ. — Ставрополь: Кн. изд-во. — 2 000 экз.

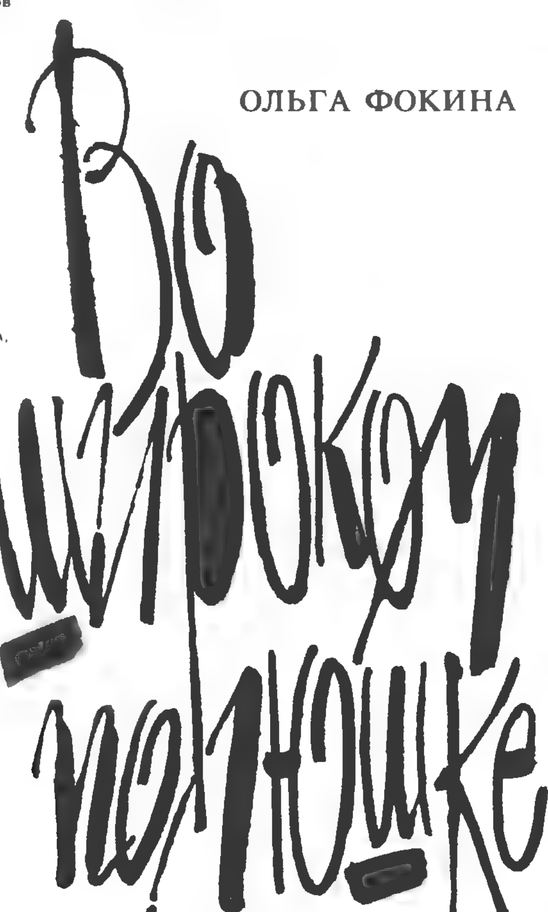
Фото МИХАИЛА РОГОЗИНА



Ольга Фокина с дочерью на открытии памятника Николаю Рубцову в г. Тотьма. 1985 г.

ФОКИНА Ольга Александровна родилась в крестьянской семье в деревне Артемьевской Верхне-Тоемского района Архангельской области. Закончила семь классов корниловской школы, первое Архангельское медицинское училище, год работала фельдшером на лесоучастках Верхне-Тоемского района Архангельской области. Затем училась в Литературном институте имени А. М. Горького СП СССР, была участником четвертого Всесоюзного совещания молодых писателей, работала в редакции газеты «Вологодский комсомолец». С 1965 года — на творческой работе
О. Фокина — автор многих сборников стихотворений и поэм, ряд ее стихотворений положен на музыку.
Живет в Вологде.

ОЛЬГА ФОКИНА



«...Нас было много на челне...»
А. С. Пушкин.

Сели. Вроде бы — не в гроб.
Кто-то правил. Кто-то греб.
Кто, по знаку заправил,
Ветер парусом ловил.
Тот, помех-препятствий страж,
Озирал, впередсмотрящ.
Повар-кок готовил щи,—
В нем причину не ищи,
Что в минуточку одну
Все, как есть, пошли ко дну:
И премудрый рулевой,
И матросик рядовой,
Златоуст-поэт-певец,
И без устали гребец,
И под тою же водой —
Ты, да я, да мы с тобой...
— Ну-ка, стой-ка, погоди,
Небылиц не городи!
Мы-то жили — на горе,
И не видели морей
Ни воочью, ни во снах?
— В том и дело, мать честна!
Оказались не мудры
Наши пилы-топоры:
Вишь, не тот валили лес,
Не туда клонили срез,
И к суденышку доска
Оказалась, вишь, узка...
— Стоп, воды набравши в рот.
Но ведь судно-то плывет:
Под водой — поводыри,
На воде — оно: смотри!
Мачта, палуба видна,
Полно, наша ли — вина?
Ведь садились-то — не в гроб:
Кто-то правил, кто-то греб,
Кто-то что-то славил, пел,
Кто-то дальше нас глядел.
Мы-то, вроде, ни при чем?
— Ни при чем? Да ты о чем?
— Я — о беленьком бычке,
Вековечном дурачке,
На болтай-веревочке.

* * *

Тетушка свет-Ангелина,
В семьдесят, как в семь, шустра!
Знаю, за язык свой длинный
Сколько ты перенесла:
Звали милиционера,
Сплавливали в суд, в район,
Но твою святую веру
В правду — поддержал закон.
Памятны твои восстанья
Супротив народных бед:
Бегивано — на собранья,
Бывывано — в сельсовет.
Не выпытывала — кстати ль
С бедами: пришла, так шпарь!
Взвинчивался председатель,
Взъяривался секретарь.
Где она бралась и сила
В слог (не по тебе — скулеж)!
Требовала — не просила:
— Вынь, товарищ, и положь!
...Лошади — овса, чтоб в плуге
Шла, а не валилась с ног;
Фельдшера — жнее-подруге,
Чей ребенок занемог;
Досок на гробок старушке
(Сиротиной дожила);
Ржи на солод — для пирушки
К празднику; да два котла
На бригаду...
— А себе-то?
Зарумянившись слегка,
С вызовом бросала: — К лету,
К сенокосу — мужика! —
Грохали.
Она ж, степенно
Уходя: — Промежду дел
Косы чтобы правил. Сено
Сметывать в стога умел!

...Ягода, да не малина.
Сватали, да не пошла:
Чисто, свято Ангелина
Ангела с войны ждала.
Взглядывает на дорогу
Сухонькой руки из-под:
— Десять уж военных сроков
Выждала... а все нейдет.
Может, где и вправду сгинул
В чужедальней стороне,
Да не хочется в могилу
Без его взглядочка мне.
Нонешни завозгудали:
— Старое пора на слом! —
Ох, как я схлестнулась даве
С эдаким одним орлом!
Хилые, мол, наши души!
Рыбья (то ли рабья?) — кровь!
Трепанула я орлушу:
Хвост-то — вырастет ли вновь?
Без хвоста-то — куцевато!
А вдругорядь не встревай!
Он — хвостат, а я — зубата:
Все — целые: посчитай!

ЮБИЛЕЙНОЕ

Ягода-смородина,
Ягода-рябина!
Нашей жизни пройдена
Только половина.
В первой — дело случая! —
Как живем — не знаем.
А вторую — лучшую! —
Только начинаем.
Ровня меж приятелей:
Между львов — не львенок,
Для отца, для матери —
Навсегда — ребенок, —
Маленький. Молоденький.
И такой, как ныне...
Годы наши, годики,
Кони вороные!
На земле — не вечные,
А в земле — подавно!
Хомутами плечи нам
Жизнь лощила справно.
Кони наши, годики,
Недруги и други,
Поослабим потяги,
Расстегнем подпруги!
Во широком полюшке
В час перезапряжки
От внезапной волюшки
По спине — мурашки.
Наклонились к реченьке,
Выкатались в росах, —
И опять мы — вечные,
Нету нам износа!
Разве не курчавятся
Волосы седые?
Разве не влюбляются
В старших — молодые?
...Ягода-смородина,
Ягода-рябина,
Нашей жизни пройдена
Только половина!

ВИДЕНИЕ

Красив, как бог!
Увидела
Да только «Ох!» —
И выдала.
Столбняк. Озноб:
Что глазоньки,
Что нос, что лоб —
Из классики!
А рост! А стать!
А выходка!
Сказать — солгать,
Мудри хоть как.
Молчу. Гляжу.
И длинен миг.
«И то, — сужу, —
Не глинян ли?
Не гипсов ли?
Не мраморен?»
А он с земли —
Да на море:
Плеснул легко,
Стремителен!
...Да столь его
И видели.

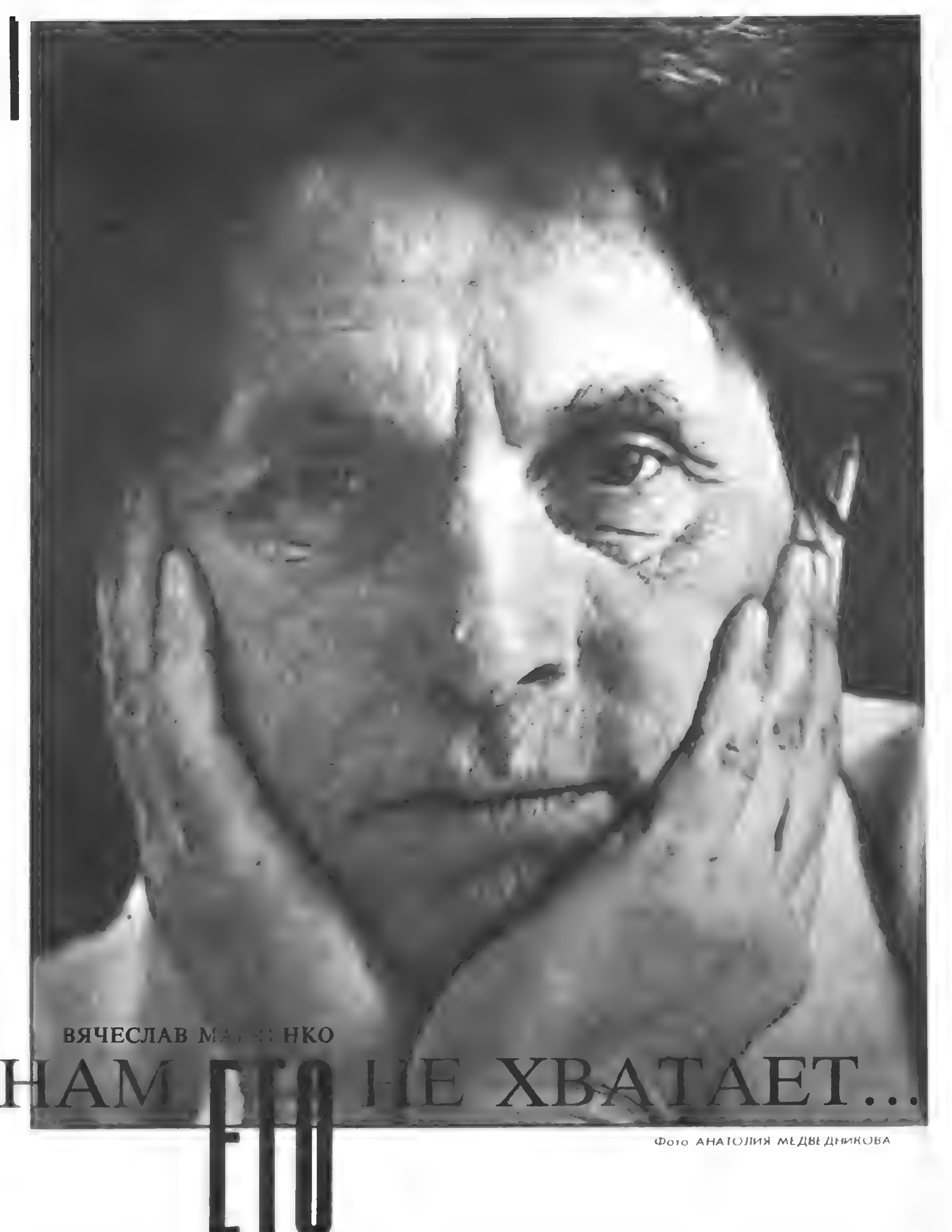
* * *

Не приходи — такой красивый!
Такой нарядный — не кажись!
За весть, что — есть,
что — здесь, — спасибо, —
Но сделав шаг, остановись.
Под жар и блеск —
нельзя пока мне
С окаменелою душой!
Побудь лучом за облаками, —
И это — слишком хорошо!
Пади дождем, повейся ветром, —
И это — слишком благодать:
Полунамек полупривета
Еще сумею ль — осознать?
Еще морозными ночами,
Еще при стынущей луне
Еще со звездами-свечами
Мне лучше быть — наедине.
Глаза в глаза — возможно ль?
Что ты!
...Мелькни в толпе меж дел и лиц
И пропади за поворотом
Пролетной птицей в стае птиц.
Неокольцован и беспечен,
Лети легко и высоко, —
Пусть целый год до новой встречи —
Она уже не под замком!
На тень привета отзываясь,
С окаменелостью в борьбе,
Я, изнутри отогреваясь,
Налажусь думать о тебе:
С весной — смирюсь,
К теплу — привыкну,
В песчинки камень размелю,
И соловьем тебя окликну,
Цветком дорогу заступлю.
Не осуди мои запреты,
Не уходи за окоем,
Мой ветер, дождь мой,
Снег мой, свет мой,
Любимый, солнышко мое!

КНИГИ ОЛЬГИ ФОКИНОЙ

СЫР-БОР. Лирика. — М.: Мол. гвардия, 1963.
РЕЧЕНЬКА. Стихи и песни. — Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1965.
А ЗА ЛЕСОМ ЧТО? Стихи. — М.: Правда, 1965. (Б-ка «Огонек»).
АЛЕНУШКА. Стихи и поэма. — М.: Сов. писатель, 1967.
ОСТРОВОК. Стихи. — М.: Сов. Россия, 1969.
СТИХИ. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969.
ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА. — М.: Мол. гвардия, 1971.
САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ДОМ. — М.: Современник, 1971.
КАМЕШНИК. Стихи. — М.: Сов. писатель, 1973.
МАКОВ ДЕНЬ. Стихи. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1974.
ОТ ИМЕНИ СЕРПА. Стихи. — М.: Современник, 1976.
ПОЛУДНИЦА. Стихи. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1978.
Я В ЛЕСУ БЫЛА СЕГОДНЯ. Стихи. — Л.: Дет. лит., 1978.
БУДУ СТЕБЛЕМ. — М.: Мол. гвардия, 1979.
РЕЧКА СОДОНГА. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980.
КОЛЕСНИЦА. — М.: Современник, 1983.
ПАМЯТКА. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983.
ТРИ ОГОНЬКА. — М.: Сов. писатель, 1983.
ИЗБРАННОЕ. Стихи и поэмы. — М.: Худож. лит., 1985.
МАТИЦА. Стихи и поэмы. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1987.
ЗА ТОЙ ЗА ТОЙМОЙ. Стихи. — М.: Современник, 1987.

памятные заметы



ВЯЧЕСЛАВ МА[illegible]НКО

НАМ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ...

Фото АНАТОЛИЯ МЕДВЕДНИКОВА

Шесть лет он уже странствует по вечным дорогам. И семьдесят лет со дня рождения остудного Федора (он родился 29 февраля) мы отмечаем без него, а утрата ощущается по-прежнему так, как будто несчастье обрушилось на нас вчера. Сейчас его особенно не хватает. Он и тогда был нужен, а теперь, когда горехваты от литературной политики заполнили собою едва ли не все, брешь стала особенно заметной. На последнем (прижизненном) Съезде писателей, в зале заседаний Большого Кремлевского дворца, Абрамов сказал печальное слово о погибели русской земли. В перерыве (по словам Федора Александровича) к нему подошел Чингиз Айтматов и проворчал:

— Федор, мы тебя можем не понять.

— Да, — сказал Федор Александрович, — меня можно и не понять. Но кто поймет мою обездоленную землю?!

Там же, на Пленуме, он выступил в защиту Василия Белова, не рекомендованного в правление Союза писателей, и настоял на своем, хотя все места были уже распределены загодя...

— Да ведь это же Белов! — простирая перед собою руки, гортанно кричал Федор Александрович. — Как вы не понимаете — Бело-ов!.. Какая величина в русской литературе!

* * *

В середине 60-х годов я заведовал отделом прозы в «Нашем современнике». Вскоре туда пришел и Юрий Галкин, с которым мы в ту пору подруживали. На первых порах с прозой было туго, и я все просил Галкина познакомить с Федором Александровичем (оба они были архангельские мужики), и тот обещал, хотя что-то у него и не получалось, но ведь все до поры, до времени.

Наконец, Галкин позвонил мне и коротко сказал:

— Зайди, дело есть.

Я зашел, решив заодно попить чайку. Там сидел довольно щуплый мужичок с копной почти нечесанных смоляных волос, в которых кое-где серебрились нити. Не поднимаясь, он подал мне сухонькую крепкую ладошку и сказал по-новгородски:

— Здорово, Славентий. Вот, значит, само того, ты какой.

Так потом он и звал меня: Славентий.

— Пообедам, что ли, — предложил он. — У меня часок свободный выдался, а тут, сказывают, до клуба рукой подать.

Он и после, появляясь в Москве, звонил мне и предлагал:

— Пообедам давай. Поговорим. Новостишки московские расскажешь.

К Абрамову я прикипел сразу. Говорили, что он был колючий, нетерпимый, угловатый, наверное, это так. Я же видел от него только доброе. В моей памяти он и остался добрым, как дядюшка Коля, родной брат матери, заменивший мне после войны отца.

— Так ты, парень, новгородской? — спросил он меня в первый же раз.

— Село Коростынь есть на берегу Ильменя. Так я оттуда.

— А чего фамилия такая, будто не новгородская?

Я усмехнулся.

— Так и Абрамов не шибко русская.

— Это ты брось, — сказал он вполне серьезно. — А то могу обидеться. Абрамов что ни есть самая русская фамилия, корнями ушедшая в архангельскую землю. А вообще-то мы на Пинеге все новгородские. Так что мы с тобой, парень, земляки.

В другой раз он сказал:

— Расписываться ты, парень, стал. Надо бы, само того, с работенки уходить. Иль пока не получается?

— Не выходит, Федор Александрович. С деньжонками не сбиться.

— Это худо, что не выходит. Пора тебе остепениться бы в нашем деле, а ты все ходишь в коротких портченках. Викулова твоего, само того, знаю. Так зажмет, что и слова своего не напишешь.

Но о журнальных делах мы говорили редко и мало, он как бы не считал себя вправе лезть со своими советами, понимая, что не каждый совет со стороны может придтись ко двору, бывает, что и разлад внесет. В этих вопросах он был осторожен и до мелочности щепетилен.

Он приглашал меня поездить с ним по моему Приозерью, но Викулов тогда не отпустил — плохо складывался номер (а когда он у меня хорошо складывался?), а Федор Александрович поехал и написал три очерка (в соавторстве с Антонином Чистяковым), которые буквально повергли в шоковое состояние новгородские власти предержащие. Ими даже было дано негласное указание: «Абрамову место в гостиницах не предоставлять, машинами не обеспечивать». Он только посмеивался:

— Я у Саши Ежева на диванчике пересплю. Потом он меня на инвалидском «Запорожце» куда хочешь увезет.

Александр Ежев был нашим общим приятелем, потеряв ногу на Невском пятачке, много занимался журналистикой, потом стал писать книги и слыл среди старых новгородцев первым хлебосолом.

А места там у нас были дивные: круча вздымалась высоко над Ильменем, а на кручу еще набегал пологий холм, в самом высоком своем месте как бы образуя кручу над кручей. Там, где холм ниспадал, расстроилось в прошлом торговое село Коростынь, а на высоком месте — на горе по-нашему, в начале того века возвели Путевой дворец, пришедший, к сожалению, по вине местных властей в жалкое состояние, рядом с ним липовый парк, церковь Успенья петровской поры, погост, а за ним еще один парк — дубовый. Там всегда селилось грачей видимо-невидимо.

Если сесть на обрыв и свесить ноги, то далеко-далеко внизу будет зеленой водой плескаться Ильмень, а по всей полосе прибоя ледник еще оставил несметное количество валунов, которые в зависимости от освещения бывали то серыми, то желтыми, то сиреневыми, а однажды они показались мне даже фиолетовыми.

Федор Александрович, рассказывал мне Саша Ежев, перекрестился на храм — он у нас действующий, — разулся, свесил ноги с обрыва и сказал певуче:

— Хорошее место выбрал Славентий, где родиться.

Слева от обрыва у нас там в незапамятные времена образовалась ровная полянка, обсаженная трепетными (там всегда дуют ветерки) березками, а посреди нее улегся огромный валун, дикарь по-нашему, каждый год заезжаю туда посидеть часок-другой и все думаю: «Поставить бы на этот валун бронзового Федора Александровича, пусть бы смотрел каждый день, как рождаются над Ильменем зори, не чужой ведь он был для нас, корни-то его все в Новгородской земле остались».

* * *

Если наши отношения сразу сложились ровно, такими они и оставались до самой его кончины, то с журналом все пошло через пень-колоду. Спустя примерно полгода после публикации «Альки» Федор Александрович передал в журнал третий роман своих «Пряслиных». Печатать в том варианте, в каком он был представлен и на каком настаивал Федор Александрович, Викулов забоялся, предложил многочисленные изъятия и сокращения.

— Только так, — сказал Викулов.

— Нет, — сказал Федор Александрович.

Викулов уже не решался на отчаянные шаги, а Федор Александрович был уже и битый, и тертый, и эти два «уже» не позволили, к счастью для романа и для читателей, придти к согласию. Роман после долгих проволочек напечатал «Новый мир».

* * *

К тому времени мы перебрали почти всю московскую прозу: одни авторы были уже при деле — имели свой журнал, в котором печатались постоянно и перебегать к нам не собирались, другие, вроде Владимира Солоухина, печатались, как говорится, через два на третий: рассказ в «Москве», другой в «Молодой гвардии» и только потом несли нам, и только третьи безоговорочно стали нашими авторами, войдя даже в редколлегию. Тогда-то и было решено разъехаться по градам и весям, по-

смотреть там, что да где, мне выпало ехать в Ленинград, в благословенный град Петров («Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия»). С вокзала я позвонил Абрамовым.

— Это ты, парень, хорошо придумал, что приехал. Сегодня у нас с тобой ничего не получится, а завтра жду к четырем часам. Васильевский остров помнишь еще где находится?

— Обижаете, Федор Александрович.

— Жду. — И он повесил трубку.

К Абрамовым я приехал точно в означенный час нв Третью линию Васильевского острова. Квартира у них оказалась длинная, просторная, для двоих — даже огромная, во всех комнатах было обилие книг, книги лежали и на столах и на столиках, даже на креслах. Тут, видимо, читали везде, где приспособился, там уже и книжка поджидала. Федор Александрович провел меня в кабинет, сел зв стол, а меня усадил напротив.

— Ничего готового, Славентий, у меня нету. Был роман, так Викулову, аидишь, не понравился. А ведь романы не блины, каждый день не затворишь. Одну вещичку, впрочем, я тебе оглашу. Она небольшая, за час управнмся.

Федор Александрович покопался в ящнке, достал оттуда вкривь н вкось исписанных пачку листов, кое-где чернилами, а кое-где и карандашом, некоторые из них были перепечатаны. «Тут все еще в разобранном виде»,— подумал я, устраиваясь поудобнее, томиться, видимо, предстояло долго.

Читал он хорошо, и я скоро забыл, зачем тут оказался, в этой полутемной комнате, освещенной лишь настольной лампой, кажется, под зеленым абажуром. Суть была такова. (Я должен вкратце пересказать: повесть долго пролежала под спудом, напечатали ее в несколько измененном варианте). В краеведческом музее девушка-экскурсант подводит к стенду ребятншек н говорит почтн с придыханнем: «Дети, а этот стенд посвящен нашему первому комсомольцу Ванюшке, допустим, Солнцеву. Он нес свет в наши темные избы, и кулаки его зверски убили. Это вот его комсомольский билет... Это вот его наган... Это...» А дело совсем обстояло иначе: в архангельскую тайгу были сосланы раскулвченные, их набралось много, многие и умерли, обезумев от холода и от голода, и поставлен над ними был Ванюшка, допустим, Солнцев. Наряжался он в кожаную куртку и в кожаную кепку, презентованные ему чекистами, на поясе носил револьвер и изгалялся над раскулаченными, как только душеньке хотелось, потому что управы на него не было и быть не могло. И все это в недавнем прошлом хозяйственные мужики терпели. Терпели бы и дольше, не изнасилуй Ванюшка, допустим, Солнцев дочку раскулаченного, которая не вынесла позора и повесилась. Вот тогда-то братья нзнасилованной прихватилн поздним вечерком подгулявшего Ванюшку, затолкали под мостнк и придушили, не взяв с него ничего, даже револьвера. Потом наехал карательный отряд, был скорый суд, и многих тут же постреляли, включая братьев, а Ванюшку, допустим, Солнцева отвезли в уездный город и там похоронили на соборной площади, объявив героем и троекратно стрельнув в воздух.

А поселение раскулаченных потом вымерло от голода, могилы затянуло мхом и дурнолесом, не осталось после ннх ни креста, ни имени. «Сколько их лежит в нашей тайге, вечных тружеников, русских крестьян, ннкто не считал».

Федор Александрович закончил читать, сложил листки и запихнул нх в стол.

— Не знаю, что и сказать, — сказал я, потрясенный услышанным: вся стройная система коллективизацни, которую нам вдалбливали со школьной скамьи, словно бы рухнула, как хилое сооружение на легком ветру.

— Ничего, Славентий, и не говорн. Я сам все знаю, потому и не перепечатываю, чтобы не выудилн и не пустили в самиздат. Я ведь не десидент, а русскнй пахарь, коего судьба определила на горькую ниву.

Я задал извечный вопрос, мучнвший каждого русского интеллигента с тех пор, как он начнивает осознавать себя:

— Кто же виноват?

— А мы с тобой, Славентий, и виноваты. Мы, окромя нас никто. Звчем поддались на удочку Троцкого и его верного выученикв Сталина? Под погонялкой поскорее в земной рай захотелось? А того забыли, что скоро робят, слепых родят.

— Но позволь, Федор Александрович, как же так: Троцкий и Сталин? Это же заклятые враги.

— Для кого-то — враги, а для себя — единомышленники. У Сталина всего ведь однв извилина была. Он асе свои идеи бредовые и человеконенавистнические у Троцкого своровал. Ты почитай сперва Троцкого. Хорошенько почитай. А потом Сталина. И тоже хорошенько. Тогда и сам поймешь, что яблочко от яблоньки недалеко падает.

— А как же Ленин? — опешив, спросил я.

— Погоди, парень. Людмила! — крикнул он. — Гости-то как? Не подошли ли?

— Все собрались. Вас ждем.

— Ну, пойдем, Славентий. Перекусим, чем бог послал. У жены, само того, сегодня день рождения.

Тут уж я совсем расстроился, забормотал:

— Что же вы не сказали?! Я хоть цветков купил бы...

— Идешь в дом, где женщина, мог бы н так купить, — буркнул Федор Александрович. — А теперь чего ж говорить...

Он усадил меня по левую руку — важный гость! — Людмила Владимировна села по правую, говорил асе больше Федор Александрович.

— Как Славентий хорошо сказал. (Это он читал, а я ведь молча сидел). Как справедливо сказал Славентий. (Да ничего я не говорил да и что я мог сказать путного после такой-то повестн). Как правильно сказал Славентий. По батюшке его Иванычем кличут. Так он сам все скажет.

И я говорил, а что говорил — вспоминать неохота.

* * *

Я перешел в «Современник», начал там курировать прозу, и встречи с Федором Александровичем стали постояннымн. Мы много нздавали его, едва лн не каждый год, н у меня частенько раздавался его звонок.

— Я в клубе. Приезжай, пообедам, — говорил он, сглатывая по-северному окончания.

Однажды он засиделся у меня и неожиданно попросил — тогда мы готовили его очередную книгу:

— Славентий, дали б вы мой портрет «навылет».

Я уже достаточно работал в издательстве, кое-что мне растолковали сведущие люди, до многого дошел своим умом, но что значило «портрет навылет» не знал, а, не зная, ничего и обещать не мог, только промычал в ответ, дескать, это конечно, так сказать... Он, кажется, превратно истолковал мою заминку и горько усмехнулся.

— И ты, Брут...

Я подхватился н якобы по делу отлучился в производственный отдел, сказав ему почти нв бегу, чтобы не уходил.

— Бабоньки, — взмолился я там с порога, — что такое — «портрет навылет»?

— А это когда фотография во всю полосу.

— Сделаем такой Абрамову?

— Сделаем, — сказали бабоньки нз производственного отдела.

Возвратясь к себе (Федор Александрович терпеливо ждал), небрежно заметил:

— Где у вас фотографии...

Он достал несколько, одну подал мне, прочие отложил.

— Тут я молодой, а?

* * *

В то аремя Федор Александрович частенько ездил за рубеж, сперва входил в различные делегации, а потом начал мотаться вольным туристом, возвратясь из Федеративной Германии, говорил мне с тихой печалью в голосе:

— Хорошо живут, а тесно. (Сам он был небольшего росточка). Нам порядку бы побольше, и никто в Европах с намн потягаться бы не мог. А в книжных лавках, парень, у нных в витринах портреты Гитлера висят и его

же «Майн кампф» продают. Спрашиваю у интеллигентов, прогрессивных, парень, не каких-нибудь последышей, дескать, чего это вы? «А ничего, — говорят, — это-де наша история. Плохой был период, каемся, а куда ж от него денешься...» А на самом деле — куда? Это мы свою каждые десять лет переписываем, а то вот еще и зачеркивать начинаем. А они свою, парень, уважают, учатся на ней.

Мы задумали выпустить серию книг для подростков, назвав ее «Отрочество», долго подбирали для нее произведения живущих и умерших писателей, у меня самого росла отроковица, я присматривался к кругу ее чтения и неожиданно для себя установил, что читают они, эти отроки и отроковицы, не сусальные книжки, кои сочиняют для них детские писатели, а снимают с верхних полок те тома, которые им добрые тети и дяди из учебно-педагогических заведений не только не рекомендовали, но в некотором роде даже ставили на них табу: «Мадам Бовари», скажем, «Пышку», из наших — «Гадюку», «Яму», «Деревню», «Отца Сергия». В начале книг для «Отрочества» я поставил прежде всего «Капитанскую дочку», «Героя нашего времени», а из современных — «Пелагею» с «Алькой» и позвонил Федору Александровичу в Ленинград.

Он долго сопел в трубку, предложение, видимо, не только польстило ему, но в некотором роде и озадачило: было ясно, что «Пелагею» с «Алькой» он меньше всего писал для отроков и теперь пытался понять, что из этого могло получиться.

— Так как, Федор Александрович, — начал я потапливать его.

— Погоди, парень. Это заманчиво, но... А ты знаешь, Славентий, ты прав. Ты прав, Славентий.

Мы поговорили с ним еще с минуту о том, о сем, а потом он неожиданно для меня сказал:

— Парень, уходи на вольные хлеба. Ты расписался и нечего тебе на двух стульях сидеть. Сиди на одном, хотя на плохоньком, но — на своем.

А потом мне на самом деле пришлось уйти из «Современника», маленько по своей воле, а больше — по чужой. После того, как я расчитался с «Нашим современником», служебные и деловые звонки догоняли меня еще недели две, после «Современника» я включил телефон уже через неделю. Как-то вечером я сидел у ящика и смотрел хоккейный матч, только что забили гол, и вдруг раздался звонок. «А что б вас», — подумал я, но звук притушил.

— Это я, Абрамов, — сказал он своим немного сердитым голосом. — Наслышался я в Питере, будто ты ушел из «Современника»?

— Маленько ушел, маленько ушли.

— Ты мудро поступил. Перемогнешь, а денег я тебе пришлю. Сколько надо? Тыщу? Две? А еще лучше приезжай ко мне. В Комарове посидим, попишем. Путевку тебе я куплю.

— Федор Александрович, голубчик, я не бедствую.

Он посопел.

— Ты не стесняйся — я богатый, сколько надо, столько и пришлю. А лучше приезжай в Питер. Тут и поговорим.

* * *

В ту весну я собирался погостить на Северном флоте, которому отдал свою молодость, пошел к врачам за справкой и нос в нос столкнулся в поликлинике с Федором Александровичем. Был он взъерошенный сильнее обычного, лицо осунулось и стало серым. Мало ли что могло с ним случиться: переутомился (он всегда работал много), весна худо подействовала или еще что...

— В Испанию, парень, собрался да что-то плохо себя почувствовал. Придется возвращаться в Питер. Может, отлежусь.

— Отлежитесь, Федор Александрович, — слова мои были искренними, он и раньше сильно болел, но всегда ухитрялся выкарабкаться, неискренней оказалась сама ситуация. — Испания погодит.

— Я так полагаю тоже.

Там на флоте я и узнал из газет о его кончине после операции, жестокой и нелепой. Вокруг меня сразу стало пусто и неуютно. В море, коротая долгие часы на мостике, я все думал, что вернусь домой, позвоню ему в Питер и скажу так-то, дескать, и так-то...

Звонить, получалось, некуда и некому.

* * *

Минуло еще несколько лет, и я снова по весне оказался на корабле: с режиссером Анатолием Ниточкиным мы снимали фильм в Средиземном море. Погода в тот день стояла мерзкая, мы только что отстрелялись, Ниточкин остался на мостике дожидаться результатов, а я спустился в каюту замполита, который наиболее ценные книги хранил у себя, покопался в шкафу и выбрал однотомник Федора Абрамова, изданный в Ленинграде уже после его смерти.

У себя я задраил иллюминатор, остерегаясь сырости, зажег весь свет — эта болезнь у меня с детства, не люблю сумерек и темных углов, — завалился на койку, раскрыл книгу наугад и наткнулся на рассказ «Бабилей», ранее мною не читанный, название его мне не глянулось, хотел перевернуть страницу, но прочел первые строчки и уже не мог оторваться.

Впечатление от этого чтения у меня создавалось горькое: за бортом легонько плескалось в общем-то ласковое Средиземное море, ревели «викинги» и «корсары», а со страниц абрамовских рассказов, как из полутьмы, выходили ко мне навстречу разоренные, обиженные наши северные деревни. Порой я забывался и не понимал уже, где нахожусь: тут ли, на «Гангуте» в Средиземном море, или там, на Пинеге, где и солнца поменьше, и краски не такие яркие, но то солнце и те краски были родными мне, и по всему получалось, что душой я был на Пинеге, на берегу которой теперь нашел вечный приют и вечное успокоение в общем-то беспокойный в жизни Федор Александрович. Как-то мы крупно поспорили, и я в запальчивости сказал:

— Знаете, Федор Александрович, России сегодня нужны не Пьеры Безуховы, а Андреи Болконские.

Он спокойно и даже сдержанно-суховато возразил:

— То само, тут ты не прав. России сейчас, как никогда нужны и Пьеры Безуховы.

Он не разубедил меня тогда, но ведь и я его не убедил.

А потом я поехал к нему в Ленинград просить за одного довольно ловкого и уверенного в себе молодого писателя, у которого тем не менее долго не ладилось с приемом в Союз писателей.

— Не могу, это само, и не проси, — сказал он, прочитав один его рассказ. — Он не пишет, а мазюкает.

— А вот они (я имел в виду деляг от литературы) принимают таких.

— Им можно, — сказал Федор Александрович сердито. — У них Пушкина не было.

«Вот, значит, как случается, — подумал я. — Он видел мою Коростынь, а я у него на Пинеге не был». Я рывком опустил ноги на палубу, прошел к иллюминатору, отдраил его и подставил лицо мокрому ветру. Я, кажется, растерял все слова, повторял, словно по памяти: «Не был... На Пинеге я не был. Он был, а я не был».

Пришел с вахты Ниточкин, внимательно и укоризненно поглядел на меня.

— Что с вами?

— Да вот, — сказал я, — почитал тут кое-что, кое-что вспомнил, в воспоминания в одиночестве редко приходят веселые. Чаще всего грустные. Да вот не хотите ли прочесть рассказ Федора Абрамова? «Бабилей» называется, у меня как раз на нем открыта книжка.

Упрашивать Ниточкина не пришлось, он взял книжку, присел к столу и в один присест прочел рассказ.

— Я всегда считал Абрамова большим писателем, — промолвил Ниточкин, откладывая книгу в сторону. — А он еще и великий.

— И угловатый, — на всякий случай сказал я.

— А великие и все были угловатые, — согласился Ниточкин.

ИВАН ШМЕЛЕВ

КУЛИКОВО ПОЛЕ

VIII

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице, у Лавры. И вот, выйдя на лаврскую площадь, вижу: ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные, и так, — с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и «антирелигиозный музей». Неподалеку от святых ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане-посадские. И, вдруг, слышу, за кучкой, мучительно-надрывный выкрик:

— «Абсурд!.. аб-сурд!!..»

Потом — невнятное бормотанье, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая уложенные в стишок предлоги: «антэ-апуд-ад-адверзус...» и снова с болью, с недоумением, —

— «Абсурд!.. аб-сурд!!..»

Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это. Он косится на мой портфель и говорит уклончиво:

— «Так-с... выпустили недавно, а он опять на свое место, к Лавре. Да он невредный».

Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он истошно гнусит:

— «Товарищ-комиссар, купите... — раков!..» — гадости говорит и передразнивает кого-то — «абсурд!.. аб-сурд!!..» — прямо бедлам какой-то.

И тут, монастырские башенные часы — четыре покойных перезвона, ровными переливами, — будто у них свое, — и гулко-вдумчиво стали отбивать — отбили — 10. И снова — «абсурд!.. аб-сурд!!..»

Я подошел взглянуть.

На сухом навозе сидит человек... в хорьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый с загара, запекшийся; отличный череп — отполированный до блеска старой слоновой кости; лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами русского интеллигента-ученого; остренькая, торчком, бородка, и... золотое пенсне, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами, и с болью, с мучительнейшим надрывом, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком: «абсурд!.. аб-сурд!!..» Я различаю в бормотаньи, будто он с кем-то спорит, внутри себя:

— «Это же абсолют-но... импоссибиле!.. абсолют-но!.. абсолют-но!!.. это же... контрадикцио!.. «антэ-апуд-ад-адверзус...» абсолю-тно!.. абсурд!.. аб-сурд!..»

Бородатые мужики, с кнутьями, — видимо, приехавшие на базар крестьяне, — глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу сторожкий шепот:

— «Вон чего говорит, «ад отверзу»!.. «об-со-лю»! — чего говорит-то».

— «Стало-ть уж ему известно... — Какого-то «Абсурду» призывает... святого может».

— «Давно сидит и сидит — не сходит с своего места... ждет... Ему и открывается, такому...»

Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно:

— «Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской вакадемии, ученый примандацент, в мыслях запутался, юродный вроде... Да он невредный, красноармейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего... хлебца подают. А, конешно, которые и антересуются, по темноте своей, деревенские... не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают... которые конешно без пропаганды-образования».

Вот как встретил меня Сергиев Посад.

IX

Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел, не мог. Успею побывать в подкомиссии архивной. Потянуло в «заводь», в тихие улочки Посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я — человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе-тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня Лавры за садами. Увидал в садике цветы, — приятные георгины, астры, петунии... кто-то, под бузиной, в лонгшезе, в чесучовом пиджаке, читает толстую книгу, горячим вареньем пахнет, малиновым... Подумалось: «а хорошо здесь, тихо... читают книги... живут...» Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта... художники стреляли галок, для пропитания, писали свои картины Виноградов, Нестеров... приехал из нашей Тулы барин Среднев... — «там потише», вспомнилось словечко Сухова... — рассказ его тут-то и выплыл из забвенья.

В грусти бесцельного блужданья нашел отраду, — не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю — донес ли ему старец крест с Куликова Поля. У кого бы спросить..? И вижу: сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадке помечает, и на лавочке стопа книг. Извиняюсь, спрашиваю: не знает ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17 году. Любезно отвечает, без недоверия:

— «Как же, отлично знаю Георгия Андреевича... благополучно переживает... книгами одолжаемся взаимно».

Знакомимся: «бывший следователь...» «бывший профессор Академии...» Среднев проживает через два квартала, голубой домик, покойного профессора.., друга Василия Осиповича Ключевского.

— «Рыбку вместе ловили в Вифанских прудах, и я

Окончание. Начало в № 1.

иногда с ними. С какой же радостью детской линька, бывало, вываживал на сачок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал!.. Какие беседы были, споры... — все кануло. В Лавре были?.. Понимаю, понимаю... трудно. «Абсурд»?.. Наш бедняга Сергей Иваныч, приват-доцеит... любимый ученик Василия Осиповича... не выдержал напора... «абсурд» помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский вел тяжбу с Богом, о себе, а наш «Иов» мучается за всех и за вся. Не может принять, как абсурд, что «ворота Лавры затворились и лампады... погасли».

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое лицо сребрсволосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился.

— «Василий Степаныч, не волнуйся так... тебе же вредно, дружок...» — сказала она ласково-тревожно и спряталась.

— «Да-да, голубка...» — ласково отозвался профессор и продолжал, потише: — «О нашем стрвшиом теперь говорят, как об *«апокалипсическом»*. Вчитываются в «Откровение». Не твк это. Как раз я продолжаю работу, сличаю тексты с подлинника, с греческого. Сегодня как раз читаю... — указал он карандашом, — 10 гл. ст. 6: «И клялся Живущим... что времени уже не будет...» — и дальше, про «горькую книгу». Не то, далеко еще до сего, если принимать богодухновенность «Откровения». Времена, конечно, «апокалипсические», условио говоря...»

Мы говорим, говорим... — вернее, говорит он, я слушаю. Говорит о «нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка...» — ссылается на Ключевского.

— «Обновляем ли запас этот? Кто скажет — «нет»! —? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний. Каков же духовный потенциал наш?.. История вскрыла его и утвердила. И Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа — выпрямляться чудесно — быстро. Иссяк ли «запас»? Нисколько. Потенциал огромный. Здесь, лишь за день до нашего «абсурда», в народной толпе у раки Угодника, было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иваныч спутал «залоги», выражаясь этимологически-глагольной формой. Сейчас объяснюсь...»

Снова милая старушка тревожно его остановила:

— «Василий Степаныч, дружок... тебе же волноваться вредно, опять затеснит в груди..!»

— «Да-да, голубка... не буду...» — покорно отозвался профессор. — «Видите, какая забота, ласковость, теплота... и это со-рок пять лет, с первого дня нашей жизни, неизменно. Этого много и в народе: душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. «Окаянство», — разве может оно — пусть век продлится!» — вскрикнул Василий Степаныч, в пафосе, «истлить все клетки души и тела нашего!.. — клеточки, веками впитавшие в себя Бо-жие?!.. Вот это — аб-сурд!.. Призрачности, видимости-однодневке... не верьте! не ставьте над духом, над православным духом — крест!.. аб-сурд! — повторяю я..!»

— «Да Васи-лий Степаныч..!» — уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка.

— «Да-да, голубка... я не буду», — жалея, отозвался профессор, — «Сергей Иваныч... — продолжал он, понизив голос, — увидел себя ограбленным, обманутым, во всем: в вере, в науке, в народе, в... правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу. И прав. Но..! он сме-шал «залоги». Помните, у Ключевского..? в его слове о Преподобном? Ну, я напомню. Но предварительно заявлю: — православный народ сердцем знает: Преподобный — здесь, с ним... со всем народом, ходит по народу, сокрытый, — говорят здесь и крепко верят. Раз такая вера, «запас» не изжит. Все лишь испытание крепости «запаса», сейчас творится выработка «анти-токсина». И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне яко бы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иваныч. «Залоги»?.. Да, спутал Сергей Иваныч, как многие. Все видимости «окаянства», всюду в России... — а Лавра — центр и символ! — «залог страдательный», а у Ключевского сказано в ином залоге».

Я не понял.

— «Да это же так просто!..» — воскликнул Василий Степаныч, косясь к окошку: — «Ключевский — и весь народ, если поймет его речь, признает, — заключает свое «слово»: «Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей — только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». Дерзнете ли сказать, что «растратили без остатка»? Нет? Бесспорно, ясно!.. Мы все в страдании! Ныне же видим: ворота затворены, и лампады — погашены!.. — выражено в страда-тельном залоге! страдание тут, насилие!.. и народ в этом неповинен. Свой «запас нравственный» он несет, и, в страдании, пронесет его и — сполна донесет до той поры, когда ворота Лавры растворятся, и лампады — затеплятся... — залог дей-стви-тельный!.. Не так ли?..»

Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «святая правда!.. но не волнуйся же так, дружок».

Василий Степаныч обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало:

— «Душно в комнатах... в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней».

Часы-кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал — «да, здесь еще живут». Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего «кустыгра».

— «Все еще не привыкли к словолитию? Георгий Андреич работает в отделе кустарей-игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают... это, конечно, между нами... на дальний путь. Поэт сказал верно:

«Как ни тепло чужое море,
«Как ни красна чужая даль, —
«Не им размыкать наше горе,
«Развеять русскую печаль.

— «Теперь не сказал бы...» — заметил я, — «тогда все же была свобода».

— «Не все же, а была!..» — поправил меня профессор. — «Гоголь мог ставить «Ревизора» на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что уж говорить... Другой поэт, повыше, сказал лучше: «Камо пойду от Духа Твоего? и от Лица Твоего камо бежу?..» Так вот, через два квартала, направо, увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось — «Свободен от постоя», — и «Дом Действительного Статского Советника Профессора Арсения Вонифатиевича...» Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл провидчески — «живописная эпитафия»... и добавлял: «Жития его было...»

Шел я, приятно возбужденный, освеженный, — давно не испытывал такого. И колокольня Лавры светила мне.

X

Домик «Действительного Статского Советника» оказался обыкновенным посадским домиком, в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них «сердечками»; но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, аряд ли тут кто и ездил: на немощеной дороге, в буйной нетронутости, росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеяньем коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом, за развороченным забором: паслась коза на приколе. Подумал — ждать ли, и услыхал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз, хозяева: сегодня запоздали, получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка.

Узнали мы друг друга сразу, хоть я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел, и, в парусинной толстовке, размашистый, смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась, — такая же нежная, вспыхивающая ру-

мянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным... — наивно-детским. Только серые, такие всегда живые радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались.

Разговор наш легко наладился. Средневу посчастливилось: приехав в Посад, он поместился у родственника-профессора; профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска — «Свободен от постоя» — оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему: иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки «Нового Времени» и «Московских Ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе, с дружеской надписью: «рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом:

— «Все — в прошлом»!.. Картина, в «Третьяковке»; запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах, и ключница, на порожке... Так и мы, «на порожке...».

Олечка отозвалась из другой комнаты:

— «Нет: в с е с нами, е с т ь».

Сказала спокойно-утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос:

— «Прошлого для нее не существует, а все вечно, и все — ж и в о е. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и в философии...».

В философии я профан, помню из Гераклита, что — «все течет...», да Сократ, что ли, изрек — «я знаю, что ничего не знаю». Но Среднев любил пофилософствовать.

— «В ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш «абсурд», вызывавший в ней бурную реакцию, т е п е р ь нисколько ее не подавляет, он в н е ее. Вот, видели нашего «Иова на гноище»... его смололо, все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет «о всех и за вся», как говорится...».

— «Не кощунствуй, папа!» — крикнула Олечка с укором, — «ты же отлично знаешь, что э т о — не «как говорится», а...! Бедный Сергей Иваныч как бы Христа ради юродивый теперь, через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему».

Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились. Но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться:

— «Да, мужички по-своему понимают... и, знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес — с в о е. Сергей Иваныч путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает «на-ша традиция... на-ши традиции...» — а мужики с в о е слышат: «н а ш е о т р о д и т - с я»! Недурно?»...

— «И они се-рдцем правы!..» — отозвалась Олечка: — «они правдой своей живут, слушают внутреннее в себе, и им о т к р ы в а е т с я».

Я дополнил, рассказав, как из «ад-адверзус» они вывели «ад отверзу», а из «абсолютно» — «обсолю». Среднев расхохотался.

— «Чего тут смешного, папа!.. Верят, что «а д отворится», и все освободятся... и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, — «обсолится»!.. Только нужно истинную «соль», а не ту, которая величала себя — «солью земли».

Среднев поднял руки и помахал с ужимками.

Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный, вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова Поля.

— «А вы откуда знаете?..» — удивился Среднев.

Я объяснил. Он позвал Олечку.

— «Для нее э т о чрезвычайно важно... она все собирается сама поехать. Знаете, она верит, что нам я в и л - с я... Нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, это профессорский, а т о т она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше, и не рельефный, а изображение Распятия вытравлено, довольно тонко... несомненная старина. Возможно, что «боевой», от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то... саблей?.. Где посечено — зелень, а все остальное — ясное».

— «Ка-ак?!... ни черноты, ни окиси?...» — удивился я...

— «Только где посечено... а то совершенно ясное».

Вошла Олечка, взволнованная: видимо, слышала разговор.

— «Скажите...» — сказала она прерывисто, с одышки, — «все что знаете... Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать — узнать в с е, как было. Для папы в э т о м ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности... и не видит, как все его умствования ползут... А сами вы... верующий?»

Я ответил, что — маловер, как все, тронутые «познанием».

— «Маленьким земным знанием, а не «познанием...»— поправила она с жалеющей улыбкой.

— «Да-а, «чердачок» превалирует!..» — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, не без удовольствия.

— «Скажите, что же говорил наш Вася... Сухов... как он говорил? он не может лгать, он сердцем...»

Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончил, она переспросила, в сильном волнении:

— «Так и сказал — «священный лик»?.. «как на иконах пишется... в с е б е с о к р ы т ы й...»?!... Слышишь, папа?.. а я... что я сказала, т о г д а?!..»

Среднев пожал плечами.

— «Что тут доказывает!..» — сказал он снисходительно — усмешливо. — «Почему не объяснить не-чудесным... тождеством восприятий..? Бывают лица, особенно у старцев... скажу даже — лики... о-чень иконописные!.. Не «небесной же моделью» пользуются иконописцы, когда изображают л и к и?.. Тот же гениальный Рублев — свою «Троицу»?!..»

Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно, и не так уже равнодушен к «случаю», как старается показать: в его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о «встрече» на Куликовом Поле слушал он очень вдумчиво.

Заинтересованный происшедшим з д е с ь, — тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке, — я попросил обоих рассказать мне, к а к они получили крест. Почему так меня это захватило, — не могу и себе точно объяснить. Помню, — я просил их — «по возможности точней, все, что припомните... иногда и мелкая подробность вскрывает многое». Будто я веду следствие... ну, может быть, машинально вышло, по привычке.

И вот, что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения, в своем стиле.

XI

Случилось э т о в конце прошлого октября, или — по новому стилю — в первых числах ноября.

Оба помнили, что весь день лил холодный дождь,— «с крупой», — как и на Куликовом Поле! — но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили: как раз праздновалась 8-ая годовщина «Октября», день был «насыщенный». Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты: «всем, всем, всем!!!» Повсюду било в глаза настоятельное предложение «показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября», всем решительно принять активное участие — в массовой манифестации, с плакатами и знаменами, с оркестром и хором, по всему городу, и присутствовать массово на юбилейном собрании в «Доме Октября», где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева, была объявлена выдача — в самый день празднования,— всем совработникам, особого, сверх нормы, «гостинца»: пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет опове-

щал, что выдача будет производиться из горкоопералата, с 7 до 8: «просят не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией, в 9-30».

Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была, — «была в церкви», — но Среднев ходил с толпой по Посаду, — «часа два грязь месили под ледяным дождем». Уклониться никак нельзя, — бухгалтер! — заметили бы: «здесь всех знают». В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы.

Вернулись домой, усталые, часов около семи. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно, с соседнего пустыря,— «как и выйти со двора», поправил Среднев: «забор на пустырь полуразвален». Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило — 7.

Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг — кто-то постучал в ставню, палочкой, — «три раза, раздельно, точно с в о й». Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя — «кто это?» К ним заходили редко, больше по праздникам, и всегда днем; те стучат властно, и в ворота. Оля приоткрыла форточку...— постучали как раз в то самое окошко, где форточка! — и негромко спросила — «кто там?..» Среднев, через «сердечко» в ставнях, ничего не мог разобрать в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосом» — так говорил и Сухов:

«С Куликова Поля».

Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то... — знает их! Сердце у Олечки захолонуло, «будто от радости». Она зашептала в комнату: «папа... с Куликова Поля!..» — и тут же крикнула в форточку — Среднев отметил — «радостно-радушно»: «пожалуйста... сейчас отворю калитку!..» — «и стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже», — добавил Среднев.

Небо пылало звездами, такой блеск... — «не видала, кажется, никогда такого». Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру, в монашеской иаметке поверх скуфьи, и — «очевидно, от блеска звезд», — вносил свое объяснение Среднев, — лик пришельца показался ей — «как бы в сиянии».

— «Войдите-войдите, батюшка...» — прошептала она, с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой — посветить.

Хрустело под ногами, от морозца.

Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа — «Рождество Богородицы» и «Спаса Нерукотворенного», — по преданию, из опочивальни Ивана Грозного, — и, «благословив все», сказал:

«Милость Господня вам, чада».

Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что... — «как-то невольно вышло... от торжественных слов, возможно». Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им в с е и сказал, «внятно и наставительно»:

«Радуйтеся Б л а г о в е с т и ю. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел сей Крест Господень на Куликовом Поле и Волею Господа посылает, во знамение Спасения».

— «О н, — расказывала Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить».

— «Проще и... глубже...», — поправил Среднев, — «и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах... затрудняюсь определить... проникновенную, духовную..?»

Они стояли, «как бы в оцепенении». Старец положил Крест на чистом листе бумаги, — Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе,— и, показалось, хотел уйти, но Оля стала его просить, сердце в ней все играло:

— «Не уходите... побудьте с нами... поужинайте с нами... у нас пшенная похлебка... ночь на дворе... останьтесь, батюшка!..»

— «Вот, именно, про пшенную похлебку... отлично помню!..» — подтвердил Среднев.

С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, «настойчиво даже», по замечанию Среднева:

— «Нет, вы останетесь!.. мы не можем вас отпустить так... у нас чистая комната, покойного профессора... он был очень верующий, писал о нашей Лавре... с вами нам так легко, светло... столько скорби... мы так несчастны!»

— «Она была, прямо, в исступлении», — заметил Среднев.

— «Не в исступлении... а я была... так у меня горело сердце, играло в сердце!.. я была... вот, именно, б л а - ж е н н а!..»

Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой, она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал, помедля, «как бы вслушиваясь в себя»:

«Волею Господа, пребуду до утра зде».

Дальше... — «все было, как в тумане». Среднев ничего не помнил: говорил ли со старцем, сидел ли старец или стоял... — «было это, как миг... будто пропало время».

В этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, на клеенчатом диване: взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было; но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, — «вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она...» — озарило ее сияние, и она увидала — Л и к. Это был образ Преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горение сердца и трепетное от слез сияние.

В благоговейном и светлом ужасе, тихо вошла она в комнату и, трепетная, склонилась, не смея поднять глаза.

— «Что было в моем сердце, этого нельзя высказать...» — рассказывала, в слезах, Оля. — «Я уже не сознавала себя, какой была... будто я стала другой, в н е обычного-земного... будто я — уже не «я», а... душа моя... нет, это нельзя словами...»

— «Она показалась мне радостно-просветленной, будто сияние от нее!..» — определял свое впечатление Среднев.

А с ним ничего особенного не произошло: «только на душе было как-то необычайно легко, уютно». Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю, но старец — «как-то особенно т о н к о уклонился, не приняв и не отказав»:

«Завтра день н е д е л ь н ы й, повечеру не вкушают».

Среднев тогда не понял, что значит — «день недельный». Оля после ему сказала, что это значит — «день воскресный».

По его пояснениям, Оля тогда «была г д е-т о, не сознавала себя». Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу: ему хотелось, «чтобы гостю было удобно и уютно». Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора, — «вот эту самую», — и удивился, «как уютно стало при лампадке». Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев — это он помнил — ничего не сказал, «будто так и надо», а лишь почтительно поклонился. Старец — видела Оля через слезы — остановился в дверях, и она услыхала «слово благословения»:

«Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом».

И благословил пространно, — «будто благословлял в с е». И затворился.

Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и, в слезах, шептала: «ах, папа... мне так хорошо, тепло...» И он ответил ей, шепотом, чтобы не нарушить эту «приятную тишину»: «и мне хорошо».

—«Было такое чувство... безмятежного покоя...» — подтверждал Среднев, «что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно, оно называется «воздействием родственной души...» в психологии: волнение Оли сообщилось мне: то есть, ее душевное состояние».

Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый Крест и приложилась.

Ей казалось, что Крест с и я е т. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: «не тронь, не тронь...» Так Крест и остался до утра, на белом листе бумаги, нетронуто.

Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «о жизни». Чувствовал, что не спит и Оля.

Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее — «радостными и светлыми». Ей «все вдруг осветилось, как в откровении». Ей открылось, что — в с е — ж и в о е, в с е — е с т ь: «будто пропало время, не стало прошлого, а все — е с т ь!» Для нее стало явным, что покойная мама — с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, — жив, и — с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого, — «все родное наше», — е с т ь, и — с нею; и Куликово Поле, откуда я в и л с я Крест, — з д е с ь, и — в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это «дано на миг»... боялась шевельнуться, испугать мыслями... — но «в с е с т а н о в и л о с ь я р ч е... с в е т н л о с ь, ж и л о...»

Ночи она не видела. В ставнях рассвет...

Она хотела мне объяснить, как она чувствовала т о г д а, но не могла объяснить словами. И прочла, напамять, из ап. Павла к Римлянам: «...и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни».

— «Понимаете, в с е ж и в е т! у Господа ничто не умирает, а в с е — е с т ь! нет утрат, а... в с е г д а, в с е ж и в е т.»

Я не понимал.

XII

И вот, утро. Заскрежетал будильник — 6. Среднев вспомнил — «завтра отыду рано», и осторожно постучал в кабинет профессора...

— ? Молчание. Оля сказала громко: «войди — увидишь: о н у ш е л». Н о о н н е м о г у й т и! Оля сказала, уверенно:

— «Как ты не понимаешь, папа... это же было я в л е н и е С в я т о г о!..»

Среднев не понимал. Он вошел в комнату: постель нетронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного:

— «Ты ви-дишь?!. и — не веришь?!.»

Среднев ничего не видел, не мог поверить: для него это был — абсурд.

Меня этот странный случай затронул двойственно: как следователя — загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека — явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала: она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая, как будто: «и вы, как папа..?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры: сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка — рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно.

И я приступил к расследованию.

Только один был выход из кабинета профессора, — через их комнату. Они не спали и — не видели у х о д а. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала; это облегчало уход бесшумный; но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой, — это могло, на первый взгляд, поразить: у ш е л, а дверь оказалась на щеколде! Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и о н тихо прошел в парадное; а то, что з а ним дверь оказалась с н о в а запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой — не их изобретение, это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить.

— «Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стойком, н...»

Он повел меня в сени и показал:

— «Смотрите... поднятая щеколда держится довольно туго... ставлю ее, чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь... — и щеколда падает в пробой!» — сказал он уже за дверью. — «Какое же объяснение иначе...?!»

Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка: «гость», выходит, уж слишком предупредителен, — не хочет беспокоить спящих, оберегает их от врагов и... догадывается повторить как раз их уловку, со щеколдой, которая туговато держится!..

Оля упорно повторяла:

— «Это было я в л е н и е!.. О н у ш е л, для него нет преград».

Из дальнейшего рассказа о том утре...

Среднев открыл парадное... В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо:

— «Завалило снегом..? Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!..»

Среднев и тут объяснял логично: значит, ушел д о снега. Полной вероятности, конечно не было; но, конечно, мог уйти и д о снега... мог пройти мимо них неслышно... можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но и тут... м о ж н о было пролезть в малинник, — забор развален.

Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно: тут не страдала логика. Для Среднева — ч у д о было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать с в о е, единственно, только в е р о й. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом Поле — «еще больше усиливает впечатление от старца: это, несомненно, достойнейший человек... может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни...» Пробовал объяснить и мотив «явления»:

— «Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Это находка Васи!.. Только вообразите: крест, с Куликова Поля!.. какой же си-мвол!.. Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что... «ад отверзется»!.. эффект, психологически, совершенно исключительный. Заметьте торжественность его слов Васе и нам!.. — «Господь посылает б л а г о в е с т и е»! Пять веков назад, с б л а г о с л о в е н и я Преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму... и вот, голос от Куликова Поля: у п о в а й т е! — и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его!.. И о н принимает на себя миссию, идет к нам, в в о т ч и н у Преподобного, откуда в т о р и ч н о и воссияет свет!..»

— «Не вы-думал же о н Куликова Поля!.. — воскликнула Олечка, это же б ы-л о... и Вася думал о нас, о Троице!.. Как все надумано у тебя!..»

Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль:

— «Согласен, неясности есть... но...!» — он развел руками, ища решения. — «Я искренно растроган и преклоняюсь... за идею!.. готов руку поцеловать у этого светлого пришельца... И этот у х о д таинственный!.. какое тончайшее воздействие!.. обвеять т а й н о й... это же почти граничит с чу-дом! Если т а к о е... «явление...» бросить в массы!.. Но кто поверит нам, интеллигентам?.. Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным... нашего же поля, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо о б ъ я в и т ь Крест!.. И она хотела принять этот крест, бесстрашно!.. Я умолил ее не делать этого: это повело бы лишь к великим бедствиям...»

Эти последние слова, о «принятии креста», Среднев мне высказал наедине: «следствие» мое продолжалось не один день.

На доводы отца об «идее пришельца» Оля воскликнула:

— «Но это ты сам выдумал «идею» и приписываешь ее... к о м у?!. И принимаешь э т о за доказательство! где же твоя излюбленная «логика»?!... Эта «идея» — обыч-

ный революционный прием!.. как это ме-лко... в связи со в с е м!.. Ты путаешься в противоречиях, бедный папа!..»

Нет, ч у д а Среднев принять не мог. Я... почти верил. Я помню смуту во мне... и необъяснимую мне самому у в е р е н н о с т ь, что я — близ чуда. Но я хотел — о щ у п а т ь. Опытом следователя я чувствовал, — по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему матерьялу «дела», — что тут необъяснимое.

— «И вы не верите...» — с жалеющей улыбкой, болезненной, говорила Оля.

Я сказал, что искренно хочу верить, что «не могу не верить, смотря на вас», что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни «благой силы», что все слова и действия «старца» так поражают неземной красотой и... п р о с т о т о й, таким благоговением, что я испытываю чувство с в я щ е н н о г о, — испытываю впервые в моей жизни. Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренно слышал в себе голос «да, тут — чудо». Но не высказывал этого категорично: мне, — это я тоже чувствовал, — ч е г о - т о не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти-вере помогла эта девушка: своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею: «какая она несовременная: извечное что-то в ней, за-земное... такие были христианские мученицы-девы».

Наши обмены мнений продолжались дня три-четыре, нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме-возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о... ч у д е. Да, я страстно х о т е л ч у д а, я ж д а л е г о. В моем подсознании, уже само творилось оно, ч у д о! Тогда я не сознавал этого: творилось оно неощутимо.

— «Ну, хорошо... допустим: было я в л е н и е, о т т у д а. Допустим, гипотети-чески...» — будто сдавался Среднев... — «Но...! не могу я понять, почему — у н а с?!. Я, конечно, не голый атеист, не нигилист... этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса — «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушившей. Я уважаю людей в е р ы... я лишь скептик, я... ну, я не знаю, кто я...! Но, почему я, я — !... удосто-ен такого... «высокого внимания»?!...»

— «Но почему непременно вы упираете, что это в ы, в ы у д о с т о е н ы... «высокого внимания»?!.» — невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. — Почему не допустить, что вы тут... только посредник?.. для ч е г о-т о... более важного?..»

Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился.

— «Вы правы...» — сказал он упавшим голосом, — «я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я... нет, говорю совершенно откровенно, смиренно: я недостоин, я...» — он не мог найти слова и развел руками.

— «Па-па, не укрывайся же за слова!..» — болью и нежностью вырвалось у Оли. — «И-щет твоя душа, Бо-га ищет!.. но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил!.. Ну, а все, чем ты жил... разве уже не рухнуло?!... что у тебя осталось?.. все твои «идеалы» рухнули!.. чем же жить-то теперь тебе?!.. Не может рушиться только в е ч н о е! А ты не бойся, ты не...» — она не могла больше, заплакала.

Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось, — и э т о выплеснулось: ч т о - т о блеснуло мне, как вдохновенье, о т к р о в е н ь е. По мне пробежало дрожью... и страх, и радость. Я уже з н а л. Знал, что таившееся во мне, неясное... сейчас вот станет ясным, р а с к р о е т с я. В мыслях... — или в душе?.. — светилось и просилось определиться и стать реальностью, было в каком-то взвешивании, в некоей неустойчивости — «да?.. нет...?» Светилось одно слово, как ж и в о е, — точнее не могу выразить. Это слово было — с у б б о т а. Взвешивалось оно, качалось во мне — «да?.. нет?..» И я уже знал, что — «да». Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая... а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о «сроке»: «к о г д а э т о произошло?» Стараясь подавить волненье, я тут же восстановил, для них:

Встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом Поле произошла около 5 ч. пополудни, в канун памяти Великомученика Димитрия Солунского, в с у б б о т у, 25 октября, — в р о д и т е л ь с к у ю с у б б о т у, «Димитриевскую». Это бесспорно-точно: Сухов возвращался от дочери, со ст. «Птань», где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги... пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло я в л е н и е — т а м. И знал, с неменьшей же точностью, когда произошло я в л е н и е — з д е с ь.

Оля, смертельно бледная, вскрикнула:

— «Да?!... вы точно помните?.. в р о д и т е л ь с к у ю?!... я... я в церкви поминала... Папа... слушай... па-па!..» — задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу, — «там... в продуктовой... записано... и в дневнике у меня... и в твоей...!»

И выбежала из комнаты.

Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге, — и, вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола... но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем... Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев — руки его тряслись — прочел прерывисто, задыхаясь: «...200 граммов подсолнечного масла... 300 граммов пшена...» штемпель... 7 ноября...»

— «Но это... 7 ноября!..» — крикнул он, в раздражении, не то в досаде, и растерянно посмотрел вокруг.

— «Да!.. 25 октября, по-церковному!.. в «родительскую» субботу!.. в церкви была т о г д а, 7 ноября... поминала... ты ходил по Посаду..!» — выкрикивала, задыхаясь, Оля, — «в т у же субботу, как т а м, на Куликовом Поле..! в т о т же вечер!.. Па-па..!»

Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил:

— «в т о т же... вечер...»

Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо.

Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева сотрясало спазмами. Подобное «разряжение» я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и — р а з р я ж а л а с ь, ломая страх. Но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось все привычное, рвалась о с н о в а и замещалась — ч е м?.. На это ответить невозможно: это вне наших измерений.

Оля смотрела напряженно и выжидательно, и это было такое нежное, почти материнское душевное движение — взгляд сердца. Я... не был потрясен: я был светло-спокоен, светло-доволен... — дивное чувство п о л н о т ы. Видимо, был уже подготовлен, нес в «подсознательном» бесспорность ч у д а. Мелькавшие в мыслях д в е субботы — слились теперь в о д н у, так поразительно с о в п а л и, такие разные! Два празднования: — т а м — и з д е с ь: Н е б а — и з е м л и, С в е т а — и т ь м ы. И как наглядно п о к а з а н о. В ту минуту я не высказывался: я светло держал в сердце. Уверовал ли я?.. Кто скажет о сокровеннейшем? кто дерзнет сказать о себе, к а к и к о г д а уверовал?! Это держит потайно сердце.

Я тогда испытал впервые, что такое, когда л и к у е т сердце. Несказанное чувство п е р е п о л н е н и я, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти фи-зической. Знаю определенно одно только: чувство освобождения. Все, томившее, вдруг пропало, во мне засияла радостность, я чувствовал радостную силу, и светлую-светлую с в о б о д у, — именно, л и к о в а н ь е, у п о в а н ь е: ну, ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все п р е д у с м о т р е н о, все — в е д е т с я... и все — т а к н а д о. И со всем этим — страстная, радостная воля к жизни, — полное обновление.

Было и еще чувство, но не столь высокого порядка:

чувство профессионального торжества: р а с к р ы л! Будто и неожиданно? Нет, я, внутренно, уже ждал «самого важного». И оно раскрылось: из Сергнева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне о с н о в о й, на которой я должен строить «самое важное». Это — бесспорный факт.

Чувство профессионального торжества... Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей п о б е д е: я одержал ее н а д собой, над пустотой в себе. Э т у победу определить нельзя: это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни — рождение и смерть. Тут было — в о з р о ж д е н и е. Это — невидимая победа-тайна.

А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно: никакими увертками «логики», никакими доводами рассудка нельзя был опорочить «юридического акта». Мое предварительное заявление в дне и часе я в л е н и я на Куликовом Поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально: записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева — о... подсолнечном масле и пшене! ка-кими же серенькими мелочами! — вот, что разительно. Сколько же мне открылось в э т о м!.. Господи, Красота какая во — в с е м Твоем!..

Со Средневым с в е р ш и л о с ь сложнейшее и, конечно, непостижимое для него — п о к а. Он отнял от лица руки, окинул в с е — стыдливо, смущенно, радостно, — новым каким-то взглядом... смазал, совсем по-детски, слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший:

«Го-споди..!»

Оля, в слезах, смотрела на него моляще-нежно.

В Посаде я пробыл тогда недели две, н е м о г, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось...

Особенно поражало нас в нами воссозданном: «суббота 7 ноября», сомкнувшаяся со «саятой субботой», ею з а к р ы т а я. Оля видела в этом — «великое знамение о б е т о в а н и я», и мы принимали это, как и она. Как же не о т к р о в е н и е!.. не б л а г о в е с т и е?!... То, давнее, б л а г о в е с т и е — Преподобного Сергия Великому Князю Московскому Димитрию Ивановичу — и через него всей Руси Православной — «ты одолеешь!» — вернулось и — п о д т в е р ж д а е т с я. И теперь — ничего не страшно.

Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это, для нас, начало только... но какое прекрасное начало! Мы понимали, что впереди — огромное богатство, которого едва коснулись. Но это личное, маленькое н а ш е: тогда, в беседах, нам открывалось все наше, родное, — о б щ е е — вневременное и временное, небесное и земное... — какие упованья!.. Не для нас же, маловеров, явлено было чудо... И раньше, до с е г о, идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную о с н о в у, таинственно нам дарованную в е р у. И поняли, оба поняли, что идеалы наши питались ее с в е т о м. Во имя чего? ради чего? для кого?

Какие были дивные вечера тогда, какие звездные были ночи!.. какую связанность нашу чувствовали мы с о в с е м!.. Это был, воистину, творческий подъем.

И стало так понятно, п о ч е м у, в темную годину, когда разверзлась бездна, пытливые, испуганные души притекали в эту тихую в о т ч и н у, под эти розовые стены Лавры... ч е г о искали.

В светлой грезе, я покидал Посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся. И до зимы приезжал не раз.

Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все кругом было чисто, бело, — и розовая над снегом Лавра, «свеча пасхальная». Шагая по сугробам, добрел я до глухой улочки, постучался в занесенный снегом милый голубой домик... — никто не вышел. Соседи таинственно пошептали мне, что господа спешно уехали куда-то...

Очевидно, так надо было.

Январь-Февраль, 1939 — Февраль-Март, 1947
ПАРИЖ

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Можно лишь позавидовать тому, у кого окажется в руках эта книга и кому еще предстоит провести с ней несколько грустно-печальных, но по-доброму счастливых дней.

Виктор Лихоносов написал сострадательно-трагический роман, хотя назвал его почти шутливо «Наш маленький Париж».

А трагедия разворачивается неслыханная, смертоубийственная, нечеловеческая, насильственная, трагедия уничтожения целого народа — кубанского казачества, уничтожения физического и духовного в годы после Октября 1917 года, то, что теперь все чаще называют «красным террором».

Виктор Лихоносов большой мастер прозы локальной, будто вышитой рукой чудотворца из поэтических, милых деталей быта, жизни, нравов, обычаев, но оттого трагедия еще страшнее, она — будто разлом самого существа человеческого. И можно представить, как волновалась, как трепетала и переживала душа писателя, открывая нам тайны истребленного казачества — его язык, его нрав, его родовые корни, его самобытную старину, его могучий характер...

Как невыносимо больно повторять за автором книги — это все было, было, было!..

АРС. КУЗЬМИН

В. Лихоносов. НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ. Роман. — М.: Сов. писатель, 1989.

ГЕРОИ МИФОЛОГИИ

Имя Сергея Васильевича Максимова, широко известного в конце XIX — начале XX века писателя, исследователя обычаев русского народа, путешественника, мало знакомо современному читателю. Всю жизнь писатель посвятил своей стране, ее изучению, народу, описанию его верований, обычаев, быта, языка. Вышедшее в предреволюционные годы двадцатитомное собрание его сочинений содержит интереснейший материал, связанный с Севером, Дальним Востоком, Уралом и множеством других мест России.

В книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» С. В. Максимов рассказывает о героях народных суеверий — леших, домовых, водяных, оборотнях. Весь окружающий мир населила народная фантазия злыми и добрыми духами. Каждый из них имеет особые приметы, свой тип поведения, требует особых даров и особого с ним обращения. Сонмы этих существ, окружающих человека на каждом шагу, внушая страх, вместе с тем воспитывали бережное отношение к природе, находящейся под их охраной. Современному человеку трудно представить, что лес, например, охраняет маленький, но грозный старичок с букетом цветов и трав вместо волос на голове. Попробуй, обидь его небрежным обращением с деревом — долго помнить будешь!

Читая рассказы С. В. Максимова с их любовью и глубоким пониманием русского народа, может быть, кто-то из нас поймет, что природа способна воспринимать ту боль, которую мы ей причиняем и что в конце концов она не выдержит и по-своему, жестоко накажет человека-обидчика.

Л. ЖУКОВА

Максимов С. В. НЕЧИСТАЯ, НЕВЕДОМАЯ И КРЕСТНАЯ СИЛА. — М.: Книга, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Андреев Л. АНАТЭМА: Избр. произведения. — Киев: Днипро, 1989. — 575 с. — 2 р. 80 к. 200 000 экз.
Марков С. Н. БАЛЛАДА О СТОЛЕТЬЕ: Стихи / Сост. Г. П. Маркова. — М.: Сов. писатель, 1989. — 333 с. — 1 р. 20 000 экз.
МЕЖДУ ВОЛГОЙ И УРАЛОМ: Произведения писателей автономных республик Поволжья и Урала. Башкирия, Мари, Мордовия, Татария, Удмуртия, Чувашия / Пер., сост. Н. Н. Максимов. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1989. — 367 с. — 1 р. 60 к. 5000 экз.
Тарба И. СТИХОТВОРЕНИЯ / Пер. с абхаз. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 111 с. — 35 к. 7000 экз.
РУССКАЯ ВОЕННАЯ ПРОЗА XIX ВЕКА / Сост., предисл. Е. В. Свиясова. — Л.: Лениздат, 1989. — 527 с. — 2 р. 80 к. 100 000 экз.
Сухово-Кобылин А. В. КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО. Изд. подгот. Е. С. Калмановский, В. М. Селезнев. — Л.: Наука, 1989. — 359 с., ил. — (Лит. памятники). — 5 р. 50 000 экз.

ИСТОРИЯ

Воспоминания. Очерки. Письма.



ОТ ФЕВРАЛЯ 1917 ДО ОКТЯБРЯ

Рубрику ведут Андрей Кочетов и Алексей Тимофеев

В № 11 журнала «Слово» за прошлый год редакция объявила об открытии новой рубрики «От Февраля до Октября». Сегодня, как и планировалось, мы начинаем публикацию фрагментов из того поистине безбрежного, многоликого и захватывающе-интересного наследия, которое оставлено в назидание потомкам участниками и свидетелями событий 1917 года — одного из самых значимых во всемирной истории. Лишь сейчас, с открытием спецхранов и архивов, нам предоставлена уникальная возможность во всей глубине самим осмыслить происшедшее ровно 73 года назад... Для того, чтобы читатель имел возможность получить представление об изданной в свое время литературе, освещавшей события двух русских революций, каждый выпуск рубрики будет сопровождаться списком редких, еще недавно запрещенных у нас книг.

Во введении к рубрике приводились покаянные признания советских историков революции, на протяжении десятилетий готовивших к печати нечто сюрреалистически-искаженное и до предела схематизированное — вместо реальных картин грандиозного перелома. «Именно историю нашего последнего столетия от нас скрыли почти до неграмотности», — с горечью констатирует А. И. Солженицын. И не случайно он, один из самых значительных современных писателей, счел своим долгом провести поражающую своим масштабом работу по исследованию той эпохи в романах из цикла «Красное колесо».

Февральская революция — результат длительного общенационального кризиса. Неразрешенные социально-экономические и политические противоречия, тяготы бессмысленной войны еще в 1905 году доводили страну, по признанию министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского, до «вулканического состояния». В докладе, составленном в Петроградском охранном отделении в октябре 1916 г., сообщалось: «Грозный кризис уже назрел и неизбежно должен разрешиться в ту или иную сторону... Среди самых широких и различных слоев столичных обывателей резко отметилось исключительное повышение оппозиционности и озлобленности настроений». Были предупреждены верхи и о планах основных российских партий и социальных групп, и о неэффективности полумер...

День 27 февраля стал решающим. Стремительно нарастая, число бастующих в столице достигло около 385 тысяч человек, к которым присоединилось более 66 тысяч солдат, в первую очередь Преображенского, Волынского и Литовского полков, что и определило победу революции. Начали свою деятельность Временный комитет Государственной Думы и Совет рабочих и солдатских депутатов.

В России, согласно оценке В. И. Ленина, «борются и будут бороться три главных лагеря: правительственный, либеральный и рабочая демократия...» В публикации этого номера представлена каждая из этих сил.

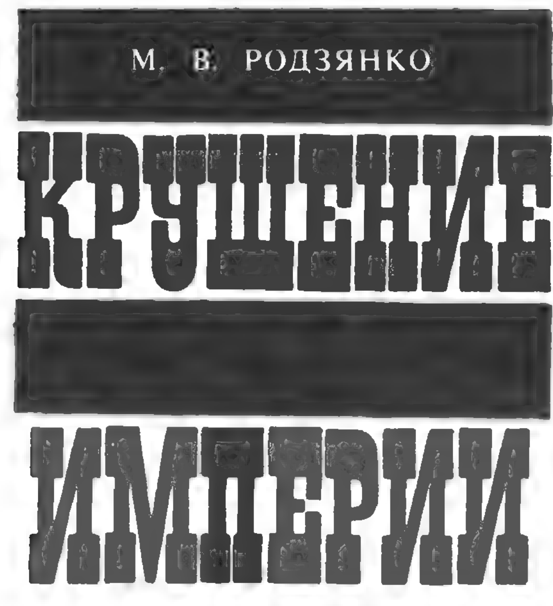
Михаил Владимирович Родзянко (1859—1924) — один из лидеров партии октябристов, крупный помещик Екатеринославской губернии, действительный статский советник, камергер. С ноября 1912 г. — бессменный председатель IV Государственной думы. Получил хорошее образование, о котором, несомненно, свидетельствует и тот слог, каким написаны его мемуары «Крушение империи». Известны различные тексты этой книги, отличия которых обусловлены обстановкой, окружавшей председателя последней Государственной Думы, испытавшего после октября 1917 года и враждебные чувства монархистов, не без некоторых оснований полагавших членов Думы «всей смуты заводчиками».

«...Шляпников — это тот коммунист, который был истинный рабочий, всегда старался им быть, истинно связан с подпольем и рабочим классом, истинный деятель истории... Он, будучи профессиональным рабочим, сам не переставал быть прекрасным токарем... Он гордился тем, что все время работал, как никто из вождей» — так характеризовал Александра Гавриловича Шляпникова А. И. Солженицын, кропотливо выявлявший реальную историческую роль каждого из персонажей своего «Красного колеса». В 1921 году А. Г. Шляпников возглавил «рабочую оппозицию», доказывая, что верхи партии изменили интересам рабочего класса. Репрессирован в 30-е годы по делу о «московской контрреволюционной организации — группе «рабочей оппозиции». С учетом необоснованности обвинений и полной реабилитации в судебном порядке восстановлен в КПСС в 1989 году.

Еще в 1905 г. В. И. Ленин писал: «Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти». Подобная тактика характерна для партии кадетов, чьим лидером и идеологом был Павел Николаевич Милюков (1859—1943). Приват-доцент Московского университета, диссертация которого была высоко оценена В. О. Ключевским, в эмиграции Милюков публикует книги «История второй русской революции» (София, 1921-1924), а также «Россия на переломе».

Каждому из этих авторов, при всем их различии, свойственно одно — острое ощущение грандиозности событий. Характерно это и для простого свидетеля с улицы Н. Морозова, стремящегося удовлетворить свое ненасытное любопытство, возбужденного хлесткими лозунгами, подавленного зрелищем первой пролившейся крови, многого не способного понять и предвидеть... Что ж, дальние последствия столь значительных явлений не были доступны ни М. В. Родзянко, ни П. Н. Милюкову, нашедших последний приют в эмигрантском далеке Югославии и Франции, ни А. Г. Шляпникову, погибшему в застенках НКВД...

Необыкновенный динамизм свойственен 1917 году, каждый месяц становился эпохой... В следующем выпуске рубрики «От Февраля до Октября» читайте воспоминания члена партии левых эсеров, впоследствии известного советского писателя С. Д. Мстиславского, генерала А. И. Деникина, французского посла в России М. Палеолога.





Приступая к изложению событий, предшествовавших революции, и обстоятельств, при которых или, вернее, в силу которых появился при Дворе императора Николая II Григорий Распутин и получил столь пагубное влияние на ход государственных дел, я отнюдь не имею в виду стремление набросить тень на личность мученически погибшего русского царя. Жизнь его, несомненно, была полна лучших пожеланий блага и счастья своему народу. Однако, он не только ни в чем не достиг, благодаря своему безволию, мягкости и легкому подчинению вредным и темным влияниям, а, напротив, привел страну к царящей ныне смуте, а сам со своей семьей погиб мученической смертью.

Мне, как близко стоявшему к верхам управления Россией, кажется, что я не вправе сохранять втайне эти темные страницы жизни русского царства, страницы, раскрывшиеся во время такой несчастливой для иас мировой войны. Потомство наше себе в назидание должно знать все прошлое своего народа во всех его подробностях и в ошибках прошлого черпать опыт для настоящего и будущего. Поэтому всякий, знающий более или менее интимные детали, имеющие исторический интерес и государственное значение, не имеет права скрывать их, а должен свой опыт и осведомленность без всякого колебания оставить потомству.

С этой точки зрения я и прошу читателей отнестись к настоящим запискам. Быть объективным в своем изложении — моя цель, резкого же или пристрастного отношения к рассматриваемой эпохе я буду тщательно избегать...

В ночь на 17 декабря 1916 года произошло событие, которое по справедливостн надо счнтать началом второй революции — убийство Распутина. Вне всякого сомнения, что главные деятели этого убийства руководились патриотическими целями. Видя, что легальная борьба с опасным временщиком не достигает цели, они решили, что их священный долг избавить царскую семью и Россию от окутавщего их гипноза. Но получился обратный результат. Страна увидала, что бороться во имя интересов России можно только террористическими актами, так как законные приемы не приводят к желаемым результатам. Участие в убийстве Распутнна одного из великих князей, члена царской фамилии, представителя высшей аристократии и членов Г. Думы как бы подчеркивало такое положение. А сила и значение Распутина как бы подтверждались теми небывалыми репрессиями, которые были применены императором к членам императорской фамилии. Целый ряд великих князей был выслан из столицы в армию и другие места. Было в порядке цензуры воспрещено газетам писать о старце Распутине и вообще о старцах. Но газеты платили штрафы и печатали мельчайшие подробности этого дела...

Еще с зимы 1913—1914 годов в высшем обществе только и было разговоров, что о влиянии темных сил. Определенно и открыто говорилось, что от этих «темных сил», действующих через Распутина, зависят все назначения как министров, так и должностиых лиц. Приближенные ко Двору вовсе не отдавали или не хотели отдавать себе отчета, какими гибельными последствиями для династии грозит такое положение вещей. Возмущались решительно асе, ио... почти все молчали и покорялись...

Я далек от мысли утверждать, что Распутин являлся вдохновителем и руководителем гибельной работы своего кружка. Умный и пронырливый по природе, он же был только безграмотный необразованный мужик с узким горизоитом жизненным и, конечно, без всякого горизонта политического, — большая мировая политика была просто недоступна его узкому пониманию. Руководить поэтому мыслями императорской четы в политическом отношении Распутин не был бы в состоянии. Если бы он один был приближенным к царскому дому, то, конечно, дело ограничилось бы подарками, подачками, может быть некоторыми протекциями известному числу просителей и только. С другой стороны, следует совершенно и раз навсегда откинуть недобрую мысль об «измене» императрицы Александры Феодоровны. Комиссия Временного Правительства под председательством Муравьева с участием представителей от совета р. и с. депутатов, занимавшаяся этим вопросом специально по документальным данным, совершенно отвергла это обвинение. Быть может, императрица Александра Феодоровна полагала, что сепаратный мир с Германией был более выгоден для Россин, чем дальнейшее участие в союзе с Антаитой, но фактически это установлено не было. Тем менее можно говорить об «измене» русскому делу императора Николая II, он погиб мученической смертью именно в силу верности данному слову.

А между тем совершенно ясно, что вся внутренняя политика, которой неуклонно держалось императорское правительство с начала войны, неизбежно и методично вела к революции, к смуте в умах граждан, к полной государственно-хозяйственной разрухе.

Довольно припомнить министерскую чехарду. С осени 1915 года по осень 1916 года было пять министров внутренних дел: князя Щербатова сменил А. Н. Хвостов, его сменил Макаров, Макарова — Хвостов-старший и последнего — Протопопов. На долю каждого из этих министров пришлось около двух с половиной месяцев управления. Можно ли говорить при таком положении о серьезной внутренней политике? За это же время было три военных министра: Поливанов, Шуваев и Беляев. Министров земледелия сменилось четыре: Кривошеин,

Наумов, граф А. Бобринский и Риттих. Правильная работа главных отраслей государственного хозяйства, связанного с войной, неуклонно потрясалась постоянными переменами. Очевидно, никакого толка произойти от этого не могло; получался сумбур, противоречивые распоряжения, общая растерянность, не было твердой воли, упорства, решимости и одной определенной линии к победе.

Народ это наблюдал, видел и переживал, народная совесть смущалась, и в мыслях простых людей зарождалось такое логическое построение: идет война, нашего брата, солдата, не жалеют, убивают нас тысячами, а кругом во всем беспорядок, благодаря неумению и нерадению министров и генералов, которые над нами распоряжаются и которых ставит царь.

Все то, что творилось во время войны, не было только бюрократическим легкомыслием, самодурством, безграничной властью, не было только неумением справиться с громадными трудностями войны, это была еще и обдуманная и упорно проводимая система разрушения нашего тыла, и для тех, кто сознательно работал в тылу, Распутин был очень подходящим оружием.

Вот почему я утверждаю, что тяжкий грех перед родиной лежит на всех тех, кто мог и обязан был бороться с этим уродливым явлением, но не только не боролся, но еще и пользовался им во вред России...

С продовольствием стало совсем плохо. Города голодали, в деревнях сидели без сапог, и при этом все чувствовали, что в России всего вдоволь, но нельзя ничего достать из-за полного развала в тылу. Москва и Петроград сидели без мяса, а в это время в газетах писали, что в Сибири на станциях лежат битые туши и что весь этот запас в полмиллиона пудов сгниет при первой же оттепели. Все попытки земских организаций и отдельных лиц разбивались о преступное равнодушие или полное неумение что-либо сделать со стороны властей. Каждый министр и каждый начальник сваливал на когонибудь другого, и виновников никогда нельзя было найти. Ничего, кроме временной остановки пассажирского движения, для улучшения продовольствия правительство не могло придумать. Но и тут получился скандал. Во время одной из таких остановок паровозы оказались испорченными: из них забыли выпустить воду, ударили морозы, трубы полопались, и вместо улучшения только ухудшили движение. На попытки земских и торговых организаций устроить съезды для обсуждения продовольственных вопросов, правительство отвечало отказом, и съезды не разрешались...

С начала января приехал с фронта генерал Крымов и просил дать ему возможность неофициальным образом осветить членам Думы катастрофическое положение армии и ее настроения. У меня собрались многие из депутатов, членов Г. Совета и членов Особого Совещания. С волнением слушали доклад боевого генерала. Грустной и жуткой была его исповедь. Крымов говорил, что, пока не прояснится и не очистится политический горизонт, пока правительство не примет другого курса, пока не будет другого правительства, которому бы там, в армии, поверили, — не может быть надежд на победу. Войне определенно мешают в тылу, и временные успехи сводятся к нулю. Закончил Крымов приблизительно такими словами:

— Настроение в армии такое, что все с радостью будут приветствовать известие о перевороте. Переворот неизбежен, и на фронте это чувствуют. Если вы решитесь на эту крайнюю меру, то мы вас поддержим. Очевидно, других средств нет. Все было испробовано как вами, так и многими другими, но вредное влияние жены сильнее честных слов, сказанных царю. Времени терять нельзя.

Крымов замолк, и несколько минут все сидели смущенные и удрученные. Первым прервал молчание Шингарев:

— Генерал прав — переворот необходим... Но кто на него решится?

Шидловский с озлоблением сказал:

— Щадить и жалеть его нечего, когда он губит Россию.

Многие из членов Думы соглашались с Шингаревым и Шидловским; поднялись шумные споры. Тут же были приведены слова Брусилова:

«Если придется выбирать между царем и Россией — я пойду за Россией».

Самым неумолимым и резким был Терещенко, глубоко меня взволновавший. Я его оборвал и сказал:

— Вы не учитываете, что будет после отречения царя... Я никогда не пойду на переворот. Я присягал... Прошу вас в моем доме об этом не говорить. Если армия может добиться отречения — пусть она это делает через своих начальников, а я до последней минуты буду действовать убеждениями, но не насилием...

Много и долго еще говорили у меня в этот вечер. Чувствовалась приближающаяся гроза, и жутко было за будущее: казалось, какой-то страшный рок влечет страну в неминуемую пропасть...

Мысль о принудительном отречении царя упорно проводилась в Петрограде в конце 1916 и начале 1917 года. Ко мне неоднократно и с разных сторон обращались представители высшего общества с заявлением, что Дума и ее председатель обязаны взять на себя эту ответственность перед страной и спасти армию и Россию. После убийства Распутина разговоры об этом стали еще более настойчивыми. Многие при этом были совершенно искренно убеждены, что я подготовляю переворот и что мне в этом помогают многие из гвардейских офицеров и английский посол Бьюкенен. Меня это приводило в негодование, и, когда люди проговаривались, начинали на что-то намекать или открыто говорить о перевороте, я отвечал им всегда одно и то же:

— Я ни на какую авантюру не пойду как по убеждению, так и в силу невозможности впутывать Думу в неизбежную смуту. Дворцовые перевороты не дело законодательных палат, а поднимать народ против царя — у меня нет ни охоты ни возможности.

Все негодовали, все жаловались, все возмущались и в светских гостиных, и в политических собраниях, и даже при беглых встречах в магазинах, в театрах и трамваях, но дальше разговоров никто не шел. Между тем, если бы все объединились и если бы духовенство, ученые, промышленники, представители высшего общества объединились и заявили царю просьбу или даже обратились бы с требованием прислушаться к желаниям народа, — может быть и удалось бы чего-нибудь достигнуть. Вместо этого одни низкопоклонничали, другие охраняли свое положение, держались за свои места, охраняли свое благополучие, третьи молчали, ограничиваясь сплетнями и воркотней, и грозили за спиной переворотом...

Из среды царской семьи, как ни странно, к председателю Думы тоже обращались за помощью, требуя, чтобы председатель Думы шел, доказывал и убеждал.

Близкие государю тоже понимали, какая надвигается опасность, но и эти близкие, даже брат государя, были и нерешительны и тоже бессильны...

Не только в. к. Михаил Александрович понимал угрожающее положение, сознавали это и другие члены царской семьи. Еще раньше в. к. Николай Михайлович говорил мне: «Они бог знает что делают своей неумелой политикой. Они хотят все русское общество довести до исступления».

Я решил еще раз отправить рапорт царю с просьбой о приеме. 5 января я писал:

«Приемлю смелость испросить разрешения явиться к вашему императорскому величеству. В этот страшный час, который переживает родина, я считаю своим верноподданнейшим долгом как председатель Думы доложить вам во всей полноте об угрожающей российскому государству опасности. Усердно прошу вас, государь, повелеть мне явиться и выслушать меня».

На другой день был получен ответ, а 7 января я был принят царем.

Незадолго перед тем, 1 января, как всегда, во дворце был прием. Я знал, что увижу там Протопопова, и решил не подавать ему руки. Войдя, я просил церемониймейстера барона Корфа и Толстого предупредить Протопопова, чтобы он ко мне не подходил. Не передали ли

они ему, или Протопопов не обратил на это внимания, но я заметил, что он следит за мной глазами и, по-видимому, хочет подойти. Чтобы избежать инцидента, я перешел на другое место и стал спиной к той группе, в которой был Протопопов. Тем не менее Протопопов пошел напролом, приблизился вплотную и с радостным приветствием протянул руку. Я ему ответил:

— Нигде и никогда.

Смущенный Протопопов, не зная, как выйти из положения, дружески взял меня за локоть и сказал:

— Родной мой, ведь мы можем столковаться.

Он мне был противен.

— Оставьте меня, вы мне гадки, — сказал я.

Это происшествие, хотя и не во всех подробностях, появилось в газетах: писали также, что Протопопов намерен вызвать меня на дуэль, но никакого вызова не последовало.

На докладе у государя я прежде всего принес свои извинения, что позволил себе во дворце так поступить с гостем государя. На это царь сказал:

— Да, это было нехорошо — во дворце...

Я заметил, что Протопопов, вероятно, не очень оскорбился, так как не прислал вызова.

— Как, он не прислал вызова? — удивился царь.

— Нет, ваше величество... Так как Протопопов не умеет защищать своей чести, то в следующий раз я его побью палкой.

Государь засмеялся.

Я перешел к докладу.

— Из моего второго рапорта вы, ваше величество, могли усмотреть, что я считаю положение в государстве более опасным и критическим, чем когда-либо. Настроение во всей стране такое, что можно ожидать самых серьезных потрясений. Партий уже нет, и вся Россия в один голос требует перемены правительства и назначения ответственного премьера, облеченного доверием народа. Надо при взаимном доверии с палатами и общественными учреждениями наладить работу для победы над врагом и для устройства тыла. К нашему позору в дни войны у нас во всем разруха. Правительства нет, системы нет, согласованности между тылом и фронтом до сих пор тоже нет. Куда ни посмотришь — злоупотребления и непорядки. Постоянная смена министров вызывает сперва растерянность, а потом равнодушие у всех служащих сверху донизу. В народе сознают, что вы удалили из правительства всех лиц, пользовавшихся доверием Думы и общественных кругов, и заменили их недостойными и неспособными. Вспомните, ваше величество, Поливанова, Сазонова, графа Игнатьева, Самарина, Щербатова, Наумова, — всех тех, кто был преданными слугами вашими и России и кто отстранен без всякой причины и вины... Вспомните таких старых государственных деятелей, как Голубев и Куломзин. Их сменили только потому, что они не закрывали рта честным голосам в Г. Совете. Точно умышленно все делается во вред России и на пользу ее врагов. Поневоле порождаются чудовищные слухи о существовании измены и шпионства за спиной армии. Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека: все лучшие удалены или ушли, а остались только те, которые пользуются дурной славой. Ни для кого не секрет, что императрица помимо вас отдает распоряжения по управлению государством, министры ездят к ней с докладом и что по ее желанию неугодные быстро летят со своих мест и заменяются людьми, совершенно неподготовленными. В стране растет негодование на императрицу и ненависть к ней... Ее считают сторонницей Германии, которую она охраняет. Об этом говорят даже среди простого народа...

— Дайте факты, — сказал государь, — нет фактов, подтверждающих ваши слова.

— Фактов нет, но все направление политики, которой так или иначе руководит ее величество, ведет к тому, что в народных умах складывается такое убеждение. Для спасения вашей семьи вам надо, ваше величество, найти способ отстранить императрицу от влияния на политические дела. Сердце русских людей терзается от предчувствия грозных событий, народ отворачивается от своего царя, потому что после стольких жертв и страданий, после всей пролитой крови народ видит, что ему готовятся новые испытания.

Переходя к вопросам фронта, я напомнил, что еще в пятнадцатом году умолял государя не брать на себя командование армией и что сейчас после новых неудач на румынском фронте всю ответственность возлагают на государя.

— Не заставляйте, ваше величество, — сказал я, — чтобы народ выбирал между вами и благом родины. До сих пор понятие царь и родина — были неразрывны, а в последнее время их начинают разделять...

Государь сжал обеими руками голову, потом сказал:

— Неужели я двадцать два года старался, чтобы все было лучше, и двадцать два года ошибался?..

Минута была очень трудная. Преодолев себя, я ответил:

— Да, ваше величество, двадцать два года вы стояли на неправильном пути.

Несмотря на эти откровенные слова, которые не могли быть приятными, государь простился ласково и не высказал ни гнева ни даже неудовольствия...

Мне невольно вспоминается одна из аудиенций, во время которой больше, чем когда-либо, можно было понять императора Николая II. Ошибаются те, которые называют его лживым и черствым человеком. Он был только слабый волей, легко подпадающий под чужое сильное влияние.

После одного из докладов, помню, государь имел особенно утомленный вид.

— Я утомил вас, ваше величество?

— Да, я не выспался сегодня — ходил на глухарей... Хорошо в лесу было...

Государь подошел к окну (была ранняя весна). Он стоял молча и глядел в окно. Я тоже стоял в почтительном отдалении. Потом государь повернулся ко мне:

— Почему это так, Михаил Владимирович? Был я в лесу сегодня... Тихо там, и все забываешь, все эти дрязги, суету людскую... Так хорошо было на душе... Там ближе к природе, ближе к богу...

Кто так чувствует, не мог быть лживым и черствым...

В конце января в Петроград приехали делегаты союзных держав для согласования действий на фронтах в предстоящей весенней кампании.

На заседаниях конференции с союзниками обнаружилось полнейшее невежество нашего военного министра Беляева. По многим вопросам и Беляев и другие наши министры оказывались в чрезвычайно неловком положении перед союзниками: они не сговорились между собой и не были в курсе дел даже по своим ведомствам. В особенности это сказалось при обсуждении вопроса о заказах за границей. Лорд Мильнер долго молча вслушивался в речи наших министров и затем спросил:

— Сколько же вы делаете заказов?

Ему сообщили.

— А сколько вы требуете тоннажа для их перевозки?

И получив ответ, он заметил:

— Я вам должен сказать, что вы просите тоннажа в пять раз меньше, чем нужно для перевозки ваших заказов.

Союзные делегаты выражали сожаление, что, ввиду отдаленности России и оторванности ее от общего командования на Западе, они имеют о нас мало сведений. На это министр Покровский предложил создать новую должность комиссара, который был бы на Западе представителем России и по своему положению стоял бы выше наших послов. Присутствовавший на конференции Сазонов, только что назначенный послом в Лондон, возмутился, и между Покровским и Сазоновым начались пререкания. Иностранцам было ясно, что у нас нет ни согласованности, ни системы, ни понимания серьезности переживаемого момента. Это их очень возмущало. Хладнокровный лорд Мильнер, еле сдерживавший свои чувства, откидывался на спинку стула и громко вздыхал. Каждый раз при этом стул трещал, и ему подавали другой.

Французы тоже очень нераничали, и видно было, что

недовольны нами. Еще в январе 1916 года во время своего пребывания в Петрограде члены делегации Думерг и Кастельно ездили в Царское Село и к своему изумлению увидели там тяжелые орудия, присланные для нашего фронта из Франции...

Мне сообщили, что петроградскую полицию обучают стрельбе из пулеметов. Масса пулеметов в Петрограде и других городах вместо отправки на фронт была передана в руки полиции.

Одновременно появилось весьма странное распоряжение о выделении Петроградского военного округа из состава Северного фронта и о передаче его из действующей армии в непосредственное ведение правительства с подчинением командующему округом. Уверяли, что это делается неспроста. Упорно говорили о том, что императрица всеми способами желает добиться заключения сепаратного мира и что Протопопов, являющийся ее помощником в этом деле, замышляет спровоцировать беспорядки в столицах на почве недостатка продовольствия, чтобы затем эти беспорядки подавить и иметь основание для переговоров о сепаратном мире...

10 февраля мне была дана высочайшая аудиенция. Я ехал с тяжелым чувством. Уклончивость Беляева, затягивавшего ответы на важные вопросы, поставленные Особым Совещанием, нежелание царя председательствовать — все это не предвещало ничего хорошего.

Необычная холодность, с которой я был принят, показала, что я не мог даже, как обыкновенно, в свободном разговоре излагать свои доводы, а стал читать написанный доклад. Отношение государя было не только равнодушное, но даже резкое. Во время чтения доклада, который касался плохого продовольствия армии и городов, передачи пулеметов полиции и общего политического положения, государь был рассеян и, наконец, прервал меня:

— Нельзя ли поторопиться? — заметил он резко. — Меня ждет великий князь Михаил Александрович пить чай.

Я заговорил об ужасном положении наших военнопленных и о докладе сестер милосердия, ездивших в Германию и Австрию, государь сказал:

— Это меня вовсе не касается. Для этого имеется комитет под председательством императрицы Александры Феодоровны.

По поводу передачи пулеметов царь равнодушно заметил:

— Странно, я об этом ничего не слыхал...

А когда я заговорил о Протопопове, он раздраженно спросил:

— Ведь Протопопов был вашим товарищем председателя в Думе... Почему же теперь он вам не нравится?

Я ответил, что с тех пор, как Протопопов стал министром, он положительно сошел с ума.

Во время разговора о Протопопове и о внутренней политике вообще я вспомнил бывшего министра Маклакова.

— Я очень сожалею об уходе Маклакова, — сказал царь, — он во всяком случае не был сумасшедшим.

— Ему не с чего было сходить, ваше величество, — не мог удержаться я от ответа.

При упоминании об угрожающем настроении в стране и о возможности революции царь прервал:

— Мои сведения совершенно противоположны, а что касается настроения Думы, то если Дума позволит себе такие же резкие выступления, как прошлый раз, то она будет распущена.

Приходилось кончать доклад:

— Я считаю своим долгом, государь, высказать вам мое личное предчувствие и убеждение, что этот доклад мой у вас последний.

— Почему? — спросил царь.

— Потому что Дума будет распущена, а направление, по которому идет правительство, не предвещает ничего доброго... Еще есть время и возможность все повернуть и дать ответственное перед палатами правительство. Но этого, по-видимому, не будет. Вы, ваше величество, со мной не согласны, и все останется по-старому. Результатом этого, по-моему, будет революция и такая анархия, которую никто не удержит.

Государь ничего не ответил и очень сухо простился.

14 февраля Дума должна была возобновить свои занятия. За несколько дней до этого мне сообщили, что на первое заседание явятся петроградские рабочие с какими-то требованиями. Одновременно я узнал, что какой-то господин, выдававший себя за Милюкова, ходит по заводам и возбуждает рабочих к беспорядкам. Милюков написал письмо в газеты, разоблачая самозванца и предостерегая рабочих от провокации. Письмо это было запрещено военной цензурой, и только после моих настойчивых требований командующий Петроградским округом генерал Хабалов наконец понял, что надо разрешить письмо Милюкова, и одновременно сам опубликовал воззвание к рабочим, призывая их к спокойствию и угрожая в случае беспорядков действовать силою.

Перед самым открытием Думы были арестованы члены рабочей группы, входящей в состав военно-промышленного комитета. Это были умеренные по своим взглядам люди, и казалось непонятным, что побудило правительство к их аресту. Арестованы были не все: двое остались на свободе. Они обратились с воззванием к рабочим, призывая их, несмотря ни на что, сохранять спокойствие. Это обращение, так же как и письмо Милюкова, не было разрешено к печати.

Открытие Думы обошлось совершенно спокойно. Никаких рабочих не было, и только вокруг по дворам было расставлено бесконечное множество полиции. Чтобы не подливать еще больше масла в огонь и не усиливать и без того напряженное настроение, я ограничился в своей речи только упоминанием об армии и ее безропотном исполнении долга. Вместо общеполитических прений заседание оказалось посвященным продовольственному вопросу, так как министр земледелия Риттих пожелал говорить и произнес очень длинную речь. Центр поддерживал Риттиха, кадеты резко на него нападали. Из речи Риттиха было ясно, что в короткий срок ему немногое удалось сделать и что с продовольствием у нас полный хаос. Городам из-за неорганизованности подвоза грозит голод, в Сибири залежи мяса, масла и хлеба, разверстка между губерниями сделана неправильно, таким образом, что хлебные губернии поставляли недостаточно, а губернии, которым самим не хватало хлеба, — были обложены чрезмерно. Крестьяне, напуганные разными разверстками, переписками и слухами о реквизициях, стали тщательно прятать хлеб, закапывая его, или спешили продать скупщикам.

Настроение в Думе было вялое, даже Пуришкевич и тот произнес тусклую речь. Чувствовалось бессилие Думы, утомленность в бесполезной борьбе и какая-то обреченность на роль чуть ли не пассивного зрителя. И все-таки Дума оставалась на своей прежней позиции и не шла на открытый разрыв с правительством. У нее было одно оружие — слово, и Милюков это подчеркнул, сказав, что Дума «будет действовать словом и только словом». Дума уже заседала около недели.

Стороной я узнал, что государь созывал некоторых министров во главе с Голицыным и пожелал обсудить вопрос об ответственном министерстве. Совещание это закончилось решением государя явиться на следующий день в Думу и объявить о своей воле — о даровании ответственного министерства. Князь Голицын был очень доволен и радостный вернулся домой. Вечером его вновь потребовали во дворец, и царь сообщил ему, что он уезжает в Ставку.

— Как же, ваше величество, — изумился Голицын, — ответственное министерство?.. Ведь вы хотели завтра быть в Думе.

— Да... Но я изменил свое решение... Я сегодня же вечером еду в Ставку.

Голицын объяснил себе такой неожиданный отъезд в Ставку желанием государя избежать новых докладов, совещаний и разговоров.

Царь уехал.

Дума продолжала обсуждать продовольственный вопрос. Внешне все казалось спокойным... Но вдруг что-то оборвалось, и государственная машина сошла с рельс.

Совершилось то, о чем предупреждали, грозное и гибельное, чему во дворце не хотели верить...

А. Г. ШЛЯПНИКОВ

И ТРОНУЛАСЬ РОССИЯ...



Уже в конце шестнадцатого года, для нас, революционных социал-демократов, подпольных работников того времени, было ясно видимо приближение революционной бури, неизбежность ее, наперекор сопротивлению буржуазии и оборонческих элементов интеллигенции. Перед нашей партией, перед партийными работниками стояли сложные задачи по приближению революционного момента, вовлечению в это движение широких масс рабочих и особенно солдат, могущих обеспечить падение царизма и положить конец войне.

На собраниях Бюро Центрального Комитета, на заседаниях Петербургского Комитета, во время многочисленных моих свиданий с товарищами рабочими Питерских районов, а также на совещаниях с отдельными представителями провинции, неоднократно были попытки конкретизировать надвигавшиеся революционные события. Обмен мнений вращался вокруг трех вопросов: 1) о месте, где вероятнее всего произойдет «прорыв» революционной бури; 2) о движущихся силах в грядущих событиях; 3) о тактических задачах нашей партии до революции и в период ее. Беседы по этим вопросам велись в плоскости учета сил революционного движения. Никто из нас не предполагал заранее наметить «план революции», но все считали необходимым осмыслить развертывание событий и наметить линию своего поведения в них.

Относительно места возможного прорыва революционных настроений было два предположения: Москва и Петербург...

Демонстрации и забастовки очень приподняли настроение московских рабочих. Работа организации пошла успешнее.

Вслед за празднованием 9 января наступил праздник учащейся молодежи — «Татьянин день» — 12 января. Этот праздник студенты отметили вечерним собранием у памятника Пушкину. Полиция разогнала. Позднее большая толпа учащихся обоего пола собралась на Моховой ул., около студенческой столовой. Пели революционные песни. Приехал к ним полицмейстер, предложил хоть раз пропеть «национальный гимн». На это предложение ему ответили «крепким словом». Лишь поздним вечером разошлись учащиеся.

Конец декабря и начало января я провел в дороге, посетив Московскую организацию, побывав в Нижнем, Сормове и в родном районе, на Выксунском горном заводе — в Досчатом. Из Петербурга я уехал перед 9 января умышленно, чтобы не попасть под обычные, перед 9 января массовые, обыски и аресты и этим временем ознакомиться с работой организаций Московского Промышленного района.

По Питеру слежка за мной была основательная, назойливая и многочисленная. Некоторые из моих квартир были уже выслежены, я узнавал об этом по дежурным агентам и филерам. Однако знание города и, особенно, пригородных мест (Выборгской стороны, Лесного района, Невской заставы, Васильевского острова), комбинации с переодеванием и домашней «контр-разведкой» помогали мне удачно выходить из агентурной, филерской слежки.

Поездка по железным дорогам в то время была также связана с риском — любое железнодорожное, полицейское или жандармское начальство могло потребовать паспорт с приложением документов по отсрочке от воинской службы. Дезертирство принимало уже тогда массовый характер и бывали частые проверки поездов. На случай всякой неожиданности я раздобыл себе настоящий финляндский паспорт на имя Эеро Иоганнес Пеккаринен, выданный Куопиооским полицейским управлением. Паспорт имел четыре прописки в Петербурге и освобождал меня от предъявления документов о воинской повинности, как финляндского гражданина...

В течение января и начала февраля я имел несколько свиданий с Н. С. Чхеидзе, А. Ф. Керенским. Некоторые свидания были у Н. Д. Соколова, а февральское у присяжного поверенного Гальперна, с участием представителей партии социалистов-революционеров.

На всех наших совместных совещаниях стоял всегда вопрос о контакте, о согласовании действий в рядах «революционной демократии», как говорили мы тогда. Уже не один раз собирались мы за время войны с представителями фракции меньшевиков и партии социалистов-революционеров, много было потрачено времени и сил, чтобы отыскать линию единства действий. И Н. С. Чхеидзе, и А. Ф. Керенскому я поставил ряд условий, выработанных нашим Бюро Ц. К. и Петербургским Комитетом, выполнение которых считал непременным и обязательным для установления действительного единства действий. Главными из поставленных нами условий были: разрыв с шовинистами-оборонцами, осуждение их тактики подчинения рабочего движения воле и видам империалистической буржуазии; поддержка с Думской трибуны революционной борьбы рабочих против войны. Однако дальше обсуждения наших условий, дипломатических обходов друг друга дело не шло. На свои предложения я получал длиннейшие и скучнейшие объяснения, сводившиеся к тому, что в основном «они согласны со мной», но что их положение, как представителей «всей демократии», обязывает их вести контакт со всеми антицаристскими силами. Конечно, мы их прекрасно понимали, что они сами были кость от кости социал-шовинизма. Их выступления в Думе достаточно ясно говорили об этом. Поэтому и контакт с ними возможен был лишь информационный, технический и от случая к случаю, не больше.

Не имея никакого интереса стать игрушкой в буржуазных руках, я не шел ни на какое формальное соглашение, обязывающее наши организации согласовать свою волю и действия с намерениями других организаций...

Развертыванию работы не позволяла наша бедность. Привезенная мною небольшая сумма денег из Америки быстро иссякла. За время же от 1 декабря по 1 февраля мы имели поступлений всего 1117 рублей 50 коп. На содержание «профессионалов», каковыми являлись все трое